

ВОЛЯ РОССИИ

ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ
И КУЛЬТУРЫ

VIII-IX

ПРАГА

1927

6-ой год издания.

6-ой год издания.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1927 ГОД
на ежемесячный журнал политики и культуры

„ВОЛЯ РОССИИ“

под редакцией В. И. Лебедева, М. Л. Слонима, Е. А. Сталинского и
В. В. Сухомлина.

В каждом номере « ВОЛИ РОССИИ »: Рассказы, повести, стихотворения. Переводы выдающихся произведений западно-европейской литературы. Статьи по вопросам русской и иностранной политики. Систематические обзоры жизни Советской России. Проблемы современной культуры. Жизнь славянства. Статьи иностранных авторов по вопросам международной политики. Литературные отклики. Обзоры новых книг и журналов. Библиография.

За 1926 год в журнале были помещены произведения следующих русских авторов: Аноним (Россия), Б. Аратов, В. Архангельский, К. Бальмонт (Париж), Н. Безпалов, П. Булатов, Д. Вяткин (Россия), С. Верещак, Н. Воронович (Варшава), Е. Зноско - Боровский (Париж), проф. А. Герш (Женева). Д. Ивицкая (Россия). З. Кочеткова (Брюссель), А. Коршунов (София), П. Климушкин, К. Кочаровский, И. Каяинников, Е. Лазарев, Л. Леонов (Россия), Вл. Лебедев, проф. И. И. Лапшин, Б. де Люнель (Россия), Д. Лутохин, Н. Мельникова - Папоушек, П. Милославский, Е. Недзельский, И. Нечитайлов (Загреб), С. Новиков (Белград). Невидимцев, Б. Нерадов (Россия), П. Орлушин, С. Постников, А. Пешехонов, А. Ремизов (Париж), Ф. Репейников, С. Раппопорт (Лондон), Н. Русанов (Ницца), Л. Россель, Н. Рубакин (Лозанна), М. Слоним, Е. Сталинский, В. Сухомлин, В. Тукалевский, Г. Фальчиков, Г. Шрейдер, М. Цветаева, А. Цаликов, В. Чернов, Ю. Данилов (Париж), проф. Ульянов (Лозанна).

Кроме того, были помещены следующие специально для «Воли России» написанные статьи иностранных авторов: Рудольф Брейтшейд (Германия), Ван-Чу-Фу (Китай), Шарль Вильдрак (Франция), Тадеуш Голувко (Польша), Гануш Елинек (Чехословакия), Бласко Ибаньес (Испания), Рихард Линстром (Швеция), Альсинг Андерсен (Дания), Рамзей Макдональд (Англия), Александр Олар (Франция), Сант Яго (Испания), Коста Тодоров (Болгария), Альбер Тома (Швейцария), Свентаржицкий (Финляндия), Генрих Штребель (Германия), Дживонни Зиборди (Италия), А. Хондокаряи (Армения), С. Янинос (Греция) и др.

Произведения следующих иностранных авторов были помещены в переводе с их согласия или согласия издателей: Г. Апполлинер (Франция), В. Вавчур (Чехословакия), Э. Бенеш (Чехословакия), Ю. Волькер (Чехословакия), О. Бржезина (Чехословакия), Т. Масарик (Чехословакия), М. Пруст (Франция), Я. Папоушек (Чехословакия), М. Эбергард (Франция).

Цена настоящего номера: Во всех странах Европы — 50 цент.
В Америке, Китае и Японии — 80 центов.

Адрес редакции и конторы:

«VOLJA ROSSII», Uhelny trh I, PRAGUE Tchécoslovaquie.

ЦЕНА НАСТОЯЩЕГО ДВОЙНОГО НОМЕРА

в всех странах Европы	— 80 цент.
в Америке, Китае и Японии	— 1 дс

ВОЛЯ РОССИИ

ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ

под редакцией

В. И. ЛЕБЕДЕВА, М. Л. СЛОНИМА,

Е. А. СТАЛИНСКОГО И В. В. СУХОМЛИНА

6-ой ГОД ИЗДАНИЯ

VIII-IX

ПРАГА

ПРАГА, UHELNÝ TRH Čís 1

СОДЕРЖАНИЕ:

Алексей Ремизов. Две легенды.	3
Гайто Газдановъ. Рассказы о свободном времени.	17
Алексей Эйсер. Глава из поэмы (стихи).	42
И. Тидеман. «Тифозный эшалон».	46
М. Левин. Мои воспоминания об Азефе.	58
Марк Слоним. Литературный дневник.	92
К. Кочаровский. Пути XX века.	100
Е. Сталинский. Возможен ли бонапартизм в России?	120
В. В. Сухомлин. Новый критик марксизма. (Социализм и культура). 136	
Вл. Лебедев. С точки зрения русского.	144
М. Кроль. Светлой памяти Льва Яковлевича Штернберга.	159
Иностранная жизнь:	
Филиппо Турати. Три года спустя.	162
В. Р. К китайским событиям. (Программа Куо-Мин-Танга).	165
Славянский обзор:	
Д-р М. Рутте. Современная чешская поэзия.	180
Работы югославянского ученого по истории русского театра	192
Среди книг и журналов:	
Б. С. Жизненный путь Кнута Гамсуна.	196
А. Ч. Бунин о Есенине и самородках.	204
М. Сл. Книжные новости.	207
Отзывы о книгах: Д. Лутохина, Ф. Репейникова, Н. М. П., Залетава, В. В. и др.	

ДВЕ ЛЕГЕНДЫ

Т Я Б Е Н Ъ ¹⁾

— Из легенд о построении храма —

Храм Соломона — чудеса мира! Не человеческими руками построен — его строили демоны.

.....
в основании храма — самородные камни, их тащили с моря: лица носильщиков уходили за облака и видны были только ноги огромных цапель; цапли, натащив камней, прошли по городу мароканским маршем и пропали; слетелись все восемь ветров, поднялись над камнями, дули на-перерез, бесновались; а улетели — бегут от застав звери: сколько есть зверей на земле и от птиц — пели, рычали, лаяли (чего-то говорили, да одному понятно строителю!) и разбежались кто под куст, кто в лес; тут-то вот и явились демоны — и началась стройка.
.....

¹⁾ «Тябень» — якутское слово, по русски — верблюд. Сохраняю якутское «тябень», потому что этот верблюд не только с караваном по пустыни идет и ноздрей песок роет, но и летать может, не угнаться и демону. Я пользовался якутской сказкой из книги Г. Н. Потанина, «Сага о Соломоне» и мусульманскими легендами о построении храма.

Строитель привлекал все новые силы: демонская много легче и гибче человеческой и звериной. Самые ответственные спецы были демоны: на собраниях у царя сидели они за особыми железными столами о-бок с учеными и писателями, и им прислуживали демоны.

Очень все было странно — жутко: необычно. Точно в предгрозе. И вдруг такой шум, тряс, белиберда, как в грозу (на ухо кричи, ничего не слышу!) Китоврас, могущественный из демонов, указал способ тесать камни «шамиром» и работа пошла в тишине, для слуха незаметно (муху слышно!) А глаза понемногу привыкли и к поблескиванию и вспышкам электрических огоньков, когда «самособой» на леса поднимались камни или бежали из пустыни платформы с камнем без проводников и шофферов.

Понемногу наладилось и с едой. «Зажим экономии», вызванный затратами на постройку храма, проведен был блестяще: «пищевой отдел, как самый ответственный и сообразительный, поручен безчувственным демонам — общественные столовые, рестораны, отели, бистро, все обслуживали демоны, и, конечно, был ропот: «едим чертятину!» — но демоны оказались искуснейшими поварами и изобретательными мэтр-дотелями: из дряни такое суфле тебе сделают, само в рот прыгает — «вареники Пацюка!» или из дохлятины подадут эскалоп, только очень все перчат и потом весь день пить хочется.

Была еще с китом страсть, не дай Бог! Давал царь банкет — затеял всех рыб и какие есть морские звери, всех накормить до-отвалу — и вот об'явился кит, самый обыкновенный кит, но тут и пошло: сколько ему в пасть провизии ни кинь, все одно: «есть хочу!» — того и гляди тебя сглотнет; царю-то неловко, приглашал гостей, а угощать нечем, а тот отплыл, да оттуда как пустит струю, весь город обдал и кричит: «Благодарю Тебя, Господи, Ты один насыщаешь меня!». Срам-то какой! Конечно — против Бога человеку нельзя.



На рождественские каникулы работы прерваны на неделю. Под Рождество выпало много снега и к вечеру небо очистилось — гоголевские звезды! А в окнах на елках зажгли огоньки. И Гоголь и елочный свет почувствовались таким домашним «неумдреным» — и вправду, мир сошел на землю! По церквам ударили ко всенощной.

И озорная орава вышла прогуляться — вон они: впереди Унис...

- — залезть на колокольню и оборвать веревку — ?
- — курлыкать под пение и орган — ?
- — безтолку толкаться в проходах на соблазн и раздражение — ?
- — на кухню! и там наплевать на кухню — ?

— Не стоит рук пачкать! к царю Соломону! я придумал! мы его прижмем к ногтю!

Унис коноводил — китоврасья порода! — знали его и на стройке: «умница», очень только озорной: на царской кормежке тогда киту несчастному вместо зерна сколько мешков камней в пасть всадил — форменным образом безобразия.

— К царю Соломону!

Всем очень понравилось — «искушать царя Соломона!» — И на радостях — вот это весело: «чтобы к ногтю!» — загалдели и в драку «по-нарошку». А как размеришь? А другой и не понимает и не то, чтоб не понимать, а если больно, хоть и понарошку, а отбрыкнешься, а это сейчас видно — заметили и уж не спустят. А был такой вонючий бесенок Сокар (Сокар по прозвищу «пекельный»): ему, глупому, больно, он и лягнулся — ну, здорово ж его отдули: так носом в снег. Поднялся — а те далеко! — только следом искры-снег! — да и досада.

— Ч-ч-ч-ерти! — и поплелся домой.



Орава, не дыша, на пяточках подступила к освещенному царскому окну: огонь надувался яркий красный — черти дымились. И какой-то горлан для безобразия затянул по-весеннему: так весна, дыша озоном, сардинками, макрелью и селедкой, кричит под окном:

Sardins de Nantes —
sardines nouvelles!
Il arrive le maquereau!
Harengs qui glacent,
 qui glacent,
harengs nouveaux!

А Унис мигом к окну, безшумно кусочком шамира вынул стекло и высунулся к Соломону: на локотках —

Соломон только что вернулся из церкви и один в своей комнате сидит разговляется: ест кутью — в одной руке ложка, в другой весы...

— Чтой-то вы делаете? (На Унису это произвело огромное впечатление).

— Ем.

— А весы?

— Я взвешиваю все, что откладываю на землю — и сколько оно весит, столько и ем.

Унис хохотнул в — сторонку —

— Какая премудрость! До этого еще никто не додумался — ни Платон, ни Аристотель — ни Лев Шестов, чтобы есть и тут же... взвешивать! Соломон! Для тебя нет тайны, ты все знаешь — пустыни, вертепы, пропасти, норы! — ничего не скрыто.

А и вправду, Соломон все знает, и где он только не был, он весь мир осмотрел.

— А на небо ты никогда не лазил! — Унис в воздухе поковырял носом, — почему?

Соломон положил ложку — перстень на его пальце горел всеми камнями: свет ветров, свет звериный, свет земли и воды, свет демонов — он над всем властен!

«— но может ли человек проникнуть через ту дверь — туда? Китоврас может, он демон, но я, человек — ?». И вспомнился кит: скандал.

— Небо — это! — там вообще все по-другому, там — без этого! — Унис огоньками насмешливо подмаргивал, и резал, точно разрывал пространство на-перекрест.

— — —

Соломон понял, не простой это бес: чего-то затевает! — и надо от него отделаться поскорей.

На столе лежала кожанная сумка: художник Шаршун принес — «своей работы».

— А скажи, пожалуйста, бес-иваныч, можешь-ли влезть в эту сумку?

— Га! — попался Унис, — еще как и все наши!

— А ты покличь: мне это очень интересно, как вы разседитесь...?

Унис пальцем чего-то там сделал за окошко, какую-то фигу, и Соломон не успел положить весы на место, вся комната наполнилась бесами.

— Товарищи! — крикнул Унис, — хочет царь Соломон, чтобы мы залезли в эту шаршунскую сумку и разседись... ха!

И стал тонеть, стал с иголку, тоньше иглы и первый скользнул в сумку.

И вся орава вдруг подобралась: кто — в гвоздик, кто — кнопка, кто просто моль — и один за другим, а то и группами посовались в сумку.

— Мы все залезли — пискнул из сумки Унис.

А с виду, ну никак не скажешь, разве где зеркальце, чуть оттопырилось.

И опять какой-то закликал из сумки: весна!

Sardins de Nantes —
sardines nouvelles!
Il arrive le maquereau!
Harengs qui glacent,
qui glacent,
harengs nouveaux!

Соломон сейчас же позвонил кузнецу. Принец кузнец засмоленную бочку из-под селедок. Положили в бочку шаршунскую сумку с чертями, на бочку крестообразно железные обручи, припечатал Соломон своею Соломоновой печатью и с Богом:

— Снесите, Вениамин Валерьянович, на Иордань и там норови на самое глубокое дно: пускай поорут на здоревье! — и сел кутью доедать.

•

На Рождество хватился Костоглод: где бесеняты? пора б! Ждет к обеду — как вымерли. И вечер — чай пить! — не возвращаются. Забеспокоился.

А этот дурак Сокар («пекельный») обрадовался! все порции сожрал и поминутно молчком бегаёт.

— Да куда ж они запропустились?

А и Сокар мало что знает:

— Пошли к царю Соломону: искушать царя Соломона.

— Вот негодяи.

— А что ж! со всякой дрянью только руки пачкать, а вот царя Соломона — **это дело!**

— Дело-то оно бело, а и норваться легко! — а сам подумал: «это Унис, его рук дело; если шею не свернет, этот себя покажет».

И велит Сокару одеться поприличней и завтра ж итти на разведки и дознаться: куда их нелегкая?

— Да руки-то хорошенько вымой, чорт знает, что, сказано: вилокй есть!

(Костоглод не раз у царя на собраниях обедал, а бывало, и позавтракает запросто, если спешка).

*

Сокар не Унис, дурак, но не без сметки: с царем ему нечего делать, это он знает, Соломон так шуганет, не обрадуешься! а вот на царицу — на эти дела он мастер. И как по утру вышел и прямо — прямо — да обежал царское окно, а вот под это! и стал прохаживаться под окном, покрикивает, как стекольщик:

v-i-t-r-i-er!

v-i-t-r-i-er!

А тогда, как кузнец бочку-то с чертями загробастал в море топить и как-то неловко в дверях повернулся (не-складный!), бочкой стекло у царицы и просади́л. Царица слышит — Сокар орет — и велела стекольщика привести. Приводят. И как рожу-то он свою высунул — царица и обомлела. И уж про стекло разговору нет — да и нет у него никакого стекла, один **резец**.

И стал Сокар ее охаживать (ну, ей Богу, как паук муху!). И голос такой — ююк какой-то — скажите, да не знаешь ли или видел кто, по каким рейсам? — к царю Соломону под Рождество он встретил:

— Шла партия эскамотеров.

— Эскамотеров! да просто алырники — бесы. Ну, царь Соломон не очень-то церемонится, живо их к ногтю прижал: поедят теперь свежих нантских сардинок!

Сокар — паук! — выпустил слюну и отбежал, дразнится. И та все — все ему и про кузнеца и как бочкой

стекло высадил — — а тому только того и надо: нащекотал усы да только рожу его и видели — — «ах! ах! стекло!» — а он уж вона где, так следом снег — искры.

*

И пришлось Костоглоду итти на выручку — виданное ли дело: с самим царем Соломоном! с Соломоном, который только что на небо не лазил! — и попадет же стервецам, дай только из бочки выйдут. Обернулся он селезнем, нырнул на дно моря, ухватил клювом бочку, выкатил на берег — так и хряснулась о камень, а крепка! — сорвал Соломонову печать, «раскрестил» железный крест, вытряхнул шаршунскую сумку, да как откроет — пухф! — «черти голландские!» — а они друг за другом, один на другом, ну, стрекозы!

И в теплую погоду, если на самое дно, не очень-то посидишь, а зимой — ей Богу, никакого терпенья нет.

А Унису еще и подшлепник:

— Делай сам все, что хочешь, твоя воля! но и ответ неси сам, шельмец.

А Унис только всего по этому месту себя погладил — он свое дело сделал!

*

Целый день Соломон один. Хоть бы праздники поскорее кончились. Скучно. Препрежнее время, захочет, бывало, и полетит — но он облетел весь свет и нет уголка на земле, где он не был, и все-то он знает. (А как это интересно, когда еще не знаешь!). А что на небе — он не знает. Это верно: не знает! Вот и бесов нет, на дне, голубчики, запечатаны сидят в бочке, а мысль не запечатаешь, она, как Унис в окно, лезет, шамиром безшумно разрезает преграды. Да, где он только не был: и у муравьев, в их царстве, с самой муравьишкой разговаривал, ангела-смерти видел,

все для него земные тайны открыты — — а что на небе? Вот бы на небо!

И день и другой, а не выходит эта мысль из головы: «залезть на небо!».

И на третий день, как бесам-то из бочки выскочить, дух сперло и Соломон все позабыл (кита позабыл!): «чего в самом деле, полечу-ка я на небо!».

И зовет он своего горбатого тябня — первый из зверей, самый близкий ветрам, а безчувственный, как демон.

— Сослужи, — говорит, — мне верную службу.

— Хорошо, — говорит тябень, — садись: куда хочешь?

Сел Соломон на своего верблюда:

— На небо! — только и крикнул.

Тябень взвился — полетели.

Летят: первое небо — ну, ничего! — и второе небо — уже что-то по другому, не наше! — стали приближаться к третьему — а там, как огонь и вода, розы и лилии... но тут ангелы как шуганут: «смертному ни на порог!» И с этакой-то высоты грохнулся Соломон на землю.

Хорошо еще тябень — ему ничего не вредит! — а то долго-ль, и не то, что шею свернешь, а и черепок на'пополам.

И слышал Соломон: над самой головой на колокольне в Клионе — эх, его куда дряпнуло, в Бретань! — Рождество часы играют:

Il est né le divin enfant:
Jouez hautbois, résonnez musettes!
Il est né le divin enfant:
Chantons tous son avènement!

Алексей Ремизов.

АНГЕЛ - ПРЕДТЕЧА

Богомильская легенда

.....
— вот уже триста лет ходит Иоанн по земле: кто ему откроет: — «может ли Господь отнять у нас то, что принадлежит нам?»
— вот уже триста лет Иоанн живет с нами: у него шесть крыльев, и из всех он самый странный — —

Каждые триста лет демоны ныряют в море. (Триста лет — срок человеческому веку).

Они ныряли посреди моря: один выловит серебра, другой ухватит драгоценные камни, третий — перломутровую ракушку —

— Господь дает души, по смерти все идут к нам!

Один Иоанн на берегу.

«Что ты здесь делаешь один на берегу? О чем ты все думаешь? Брось, ныряй с нами: век дал нам большую добычу!».

«А может ли Господь отнять у нас то, что принадлежит нам?».

«Ни самого малого камушка, ни этой песчинки, но когда Он воплотится...».

«Как же Он воплотится?».

«Не так, как рождаются люди».

«Он знает?».

«— — однажды на дне этого моря я нашел песок: из этого песку Он сделал землю; я дал Ему грязи: дуновением Он создал из грязи человека. Я знаю: есть на дне моря лилия, она на самом дне — через этот белый цветок Он может воплотиться. Но про это никому не открыто».

Демон поднялся — за ним Иоанн.

И вместе со всеми Иоанн нырнул на дно моря. Все демоны видели его на дне моря — на самой глубине. На серебра, не драгоценные камни, не перломутровых ракушек, лилию — белый цветок — взял Иоанн с самого дна. Демоны на дне — а Иоанн со цветком над морем. И поднимается выше над морем.

«Господи, сделай чудо — мне дойти до Тебя?».

И вот море замерзло. Демоны за ним — а лед, как стекло.

И стали они бить крыльями, биться о лед — проломил лед и вынырнули. И видят:

Иоанн высоко над морем — полетели вдогонку, летят на перекрест. И настигают.

«Господи, достигну ль Тебя!».

И слышит: **«вырви перо, брось на землю».**

Иоанн вырвал перо из крыла и бросил. И все демоны бросились вниз за пером — —

Иоанн подходит к Господу и Господь говорит ему:

«Что же ты узнал?»

Иоанн подал белый цветок-лилию — (кровь как слезы, из его глаз):

«Пока не воплотился Он, не может Господь отнять у нас то, что принадлежит нам!».

Марию, дочь Иоакима и Анны, выбрал Господь.

Ангел нашел Анну на берегу моря и сказал:

«Иди в Иерусалим, Господь тебе даст ребенка!».

И пошел в горы искать Иоакима и сказал Иоакиму:

«Вернись в свой дом, Господь даст вам ребенка!».

Анна и Иоаким встретились в Иерусалиме. И у них родилась дочь Мария.

Семь лет Мария ходила в школу. На Благовещение сидит она в классе и видит: подходит к ней ангел со цветком и говорит ей:

«Понюхай этот цветок!».

«— —» «Понюхай же!».

(Она его видит, а другие не видят). «Да это невозможно». — «Лилия, — сказал ангел, — понюхай!».

«Как я могу понюхать: призрак?».

Стояла под окном береза: ангел протянул руку — и упала береза. Мария поверила: понюхала цветок — и задрожала.

«Ты родишь сына, — сказал ангел, — и назовут его Христос!».

И ангел исчез — ангел пошел к Господу — —

На этом холме
появилась Мария:
с вершины склоняется —
возвеличим ее!

Богородица Дево радуйся!

Демоны говорят народу:

«Скоро родится царь!».

Звезда с небесной высоты говорит царю:

«Скоро родится новый царь!».

«Как это возможно: родится новый царь? Наша вера теперь одна — у всех одна. Нельзя допустить, чтобы родился новый царь! Всех беременных надо убить, чтобы не родился — этот другой царь».

«Как знаешь!» — и звезда закатилась.

Велит царь: «везде, где есть беременные, пусть всех убьют!».

А была такая стена — демоны построили ее — и все беременные проходили около стены и, когда они прохо-

дили, стена их сдавливала. Когда пришла очередь Марии, стена расступилась и она прошла невредимо.

«Завтра придешь!» — кричали демоны. Весь народ собрался там и говорят все о том, что произойдет завтра. Один демон, караульщик, «Судак» — больше всех волновался — и «хорошо» звучало у него, как «порошок»; а кто слышал, подхватывали: «завтра ее в порошок!».

Мария говорит Иосифу (при школе старик по милосердию не оставлял ее):

«Дедушка, отведи меня в пещеру: у меня болит сердце!».

И ночью он ее повел. Пастухи около пещеры спали с овцами, вдруг просыпаются и видят: ангелы спустились над пещерой — они спускаются от Господа и поднимаются — и вверх и вниз. Пастух (поближе к пещере) встал посмотреть: он пошел — баран и собака пошли за ним. Заглянул он в пещеру: там — старик, женщина и ребенок, только что родился.

Мать говорит: «У нас нет дров огонь развести».

Пастух взял свой посох, разрубил его и зажег костер: согреть ребенка: холодно, ночь! Пастух стоит — — и Младенец благословил его: за то, что согрел. Вернулся пастух к овцам.

«Ну что? что там такое?».

«Нищенка, — сказал пастух (блаженный пастух!), — нищенка ребенка родила».

Тогда звезда, зажглась над стеной, где ждал народ, и сказала народу:

«Он родился, новый царь!».

Демоны кричат:

«Он родился! Так пусть везде, где есть женщина с новорожденным, убить!».

И тогда бросились по улицам — в ночь: и было умерщвлено три тысячи младенцев. Но его не нашли, никаких следов.

И вот опять звезда говорит царю:

«Ему теперь три года!».

И тогда были убиты все дети трех лет. Но Его не нашли!

— Господи, кто может найти Тебя? —

Мария с сыном и Иосиф бежали из Иерусалима и скитались по всей земле.

Ангел сказал им: «идите в Египет».

Они пошли в Египет и там мальчик вырос, сделался взрослым и стал Христом.

— вот уже тридцать лет ходит Иоанн по земле: кто ему откроет: — «Господи, где я найду Тебя?»

— вот уже тридцать лет живет Иоанн в пустыне: у него шесть крыльев и из всех он самый странный — —

И когда пришел Христос в пустыню, Иоанн узнал Его. Иоанн крестил Христа: Иоанн — крестный отец Христа. И демоны убили его.

Голову его на блюде подали царевне — она пляшет — и острым она проколола глаза ему: и из глаз его не кровь, вода и огонь, как слезы.

Один из учеников Иоанна Андрей пошел за Христом и брата своего Петра привел ко Христу. Подняв крест, Петр пойдет в Рим, Андрей-первозванный — на Русь.

Алексей Ремизов.

РАССКАЗЫ О СВОБОДНОМЪ ВРЕМЕНИ

ЭПИГРАФ

«Полное пренебрежение принципом обязательности, точно так же, как отсутствие какой бы то ни было согласованности с авторитарными началами нравственности, надлежит считать одним из наиболее важных философских положений авантюризма.

Ежели бы мы захотели провести параллельное утверждение в литературе, то нам достаточно было бы сослаться на Байрона, Вольтера и Бокаччо. В частности, в русской литературе мы имеем богатейший матерьял, начиная от революционеров типа первых пионеров российского анархизма и кончая такими современными беллетристами, как Бабель.

«В достаточной степени правдоподобным нам представляется декларирование искусства, как науки о постройке зданий на песке. Это нисколько не более бессмысленно, нежели строить небоскребы: рано или поздно все пойдет к дьяволу и небоскребы, надо полагать, даже раньше, чем многое другое».

«Моральные начала в искусстве, таким образом, совершенно неестественны и вредны, как слишком сильные щелоки для белья. Факт до сих пор существующей зависимости искусства от наиболее распространенных заблуждений так называемой нравственности, пытающейся перешагнуть за нормальные для нее пределы утилитаризма чисто ассенизаторского характера, — объясняется в громадном большинстве случаев или дурной литературной наследственностью, неизбежной, как, скажем, наследственность сифилитического или туберкулезного происхождения или же недостаточной культурной подготовкой рядовых работников интеллектуального труда».

Болезнь религиозности и морализма, рассматриваемая an sich, может быть в известной степени уподоблена некоему психическому рахитизму или, в другой плоскости, тем варварским формам, в которые втискивали некогда ноги китайнок, чтобы сделать их маленькими и изуродовать на всю жизнь».

«Как на любопытный пример совершенно несомненного аморализма в искусстве — в данном случае речь идет о литературной стилистике христианства, — мы могли бы указать на откровение святого Иоанна».

«Наоборот, во всяком труде, имеющем хотя бы отдаленное отношение к искусству, категория времени, согласно одному из центральных тезисов излагаемой нами теории, приобретает совершенно специальное значение. Графически она могла бы быть изображена рядом концентрических кругов. Пространства, заключенные между каждой парой последовательных окружностей, могут трактоваться, как пояса с в о б о д н о г о в р е м е н и».

Аскет. Теория авантюризма. Том первый. Опыт схематизации. Москва, 1926 год. (неиздано).

Страницы 58-ая и 71-ая.

Единственный рукописный экземпляр, принадлежащий автору.

І. Б У Н Т

«Mais maintenant la lueur qui colore ces accidents leur prête un nouvel aspect».

La peau de chagrin.

Из всего, что мне обещали книги, я оставил себе только право бунтовать.

Над кроватью, на стене моей комнаты висит длинная желтая перчатка из прекрасной кожи и несколько масок. Когданибудь, мою исчезнувшую и мертвую фантазию упрекнут в пристрастности. Но я оставляю на память эти символы эпизодичности повторения и обещаю не соглашаться.

Я не соглашаюсь. Сквозь застывшую полупрозрачную массу остановившихся лет, сквозь тяжелую муть почти десятилетия —

я смотрю и записываю:

медленный ритм — Туп-Тап, смешные украинские календари и конец девятнадцатого года.

Хозяйка Туп-Тапа, Екатерина Борисовна любила только двухцветные сочетания. Бильярды в Туп-Тапе были зеленые, обои синие. Сама Екатерина Борисовна носила черные платья: белели лишь руки и шея и мягкая вдовья грудь. Вечерами в Туп-Тапе зажигались лампы над задумчивым зеленым стеклом; по трем ступенькам узкого крыльца поднимались посетители, хлопали лимонадные пробки, и начиналась игра. Огромные белые шары с грохотом мчались по зеленому пространству, врываясь в гремящие лузы; длинные кии, нанеся удар, стремительно отступали, отдернутые недожаренной рукой профессионала;

пустое, горячее сердце Екатерины Борисовны останавливалось и падало, — и это были торжественные моменты партий, разыгрываемых лучшими игроками. Пятнадцатый шар застревал в лузе: он дрожал и колебался и на зеленую плоскость стянутую строгими прямоугольными линиями, отчаянно глядели остановившиеся глаза. И шар, нервно приблизившись к пропасти, вздрагивал в последний раз: Екатерина Борисовна хваталась за виски. И шар падал: жизнь была кончена. Ставили новую партию.

Посетители Туп-Тапа делились на своих и чужих. Свои знали друг друга до мельчайших подробностей и играли между собой безкорыстно. Когда же приходили чужие, их встречали организованной атакой и нужно было оказаться очень хорошим игроком с большой выдержкой, чтобы не проиграть все, вплоть до шапки. Таких в Туп-Тапе уважали, но они попадались очень редко.

Свои состояли из профессионалов, полупрофессионалов и почти небильярдных людей. Их, небильярдных, было двое: Володя Чех и Алеша-прапорщик.

Память о Володе осталась — у других надолго,
и у меня — навсегда.

Его кошелек был открыт для всех, и если он часто бывал пуст, то в этом следовало винить полицию. Его профессия сделала его щедрым и великодушным: и в некоторых отношениях он не походил на остальных людей. Я хочу сказать, что, в частности, Володя был одноглазым.

Иногда он не приходил неделями. И каждый раз, когда он после этого возвращался, Екатерина Борисовна неизменно спрашивала:

— Опять засыпались, Володя?

— Что я вам могу сказать, мадам? — говорил Володя, — Я вам могу сказать, мадам, что от засыпки не уберешься.

Через минуту он спрашивал:

— Мадам, вы можете мне отпустить стакан чаю, четыре бутерброда и два пирожка — в долг?

— Имеете, Володя.

И Володя подходил к Есе Богомолу, гимназисту последнего класса, одному из лучших игроков города.

— Ну, карандаш, есть с тобой игра.

— У меня нет времени — презрительно отвечал Еся, — Я жду партнера .

Володя удивлялся:

— Ну? А я не партнер?

— У меня нет времени, Володя.

А Алеша-прапорщик носил галифе и коричневый френч, из под которого выглядывал белый воротничек. Когда то давно он был студентом, но университета не кончил: убил охранника, попал на каторгу и бежал, затем очутился на фронте и с фронта приехал к нам. Ему сразу приглянулись синие обои Туп-Тапа и задумчивые зеленые столы — и в несколько дней он стал своим. Вечерами он сидел со стаканом чаю за мраморным столиком. Он глядел в противоположный конец бильярдной и видел белую шею и нежные, черные контуры Екатерины Борисовны: его взгляд становился пристальным и блестящим, рука оставалась на стакане с горячим чаем и он не чувствовал, что стакан обжигает ему пальцы.

— Алеша, куда ты смотришь? — иронически спрашивал Володя.

Алеша вздрагивал и не отвечал.

Было, строго говоря, два Алешы:

Алеша с сигарой

и Алеша без сигары.

Алеша без сигары был молчалив, проигрывал на бильярде и курил папиросы Лаферм, которые он глубоко презирал. Но вот, какнибудь, пропав дня на два или три, он возвращался с сигарой. Володя, обладавший прекрасным зрением, издали его замечал. Он входил в бильярдную и шумно садился:

— Братцы, Алешка с сигарой.

Игра на минуту прекращалась. Входил Алеша. Еся Богомолов, подражая оркестру, играл губами «туш», другие ему подпевали.

В зубах у Алешы светилась огромная сигара. На руках у него были белые перчатки. Он говорил:

— Екатерина Борисовна, сегодня я плачу за всех. И получите, пожалуйста, мой долг, там, кажется, шестьдесят рублей.

И сквозь

синий

табачный

туман

фигура Алеши — с огнем в зубах и безупречно белыми пятнами перчаток — подходила к стойке Екатерины Борисовны.

— Можно с вами поговорить?

— Пожалуйста, Алеша.

Я забыл сказать, что Екатерина Борисовна кончила епархиальное училище. Может быть, оттуда она вынесла любовь к двухцветным сочетаниям. Но горячее, широкое сердце и белый цвет кожи и эту нежную очерченность линий она приобрела позже, когда стала вдовой.

— Я очень люблю, Екатерина Борисовна, когда вечером лампы горят и Вы за стойкой стоите. Днем не стоит жить, Екатерина Борисовна, днем, это ерунда. Жить можно только вечером.

И знаете что, Екатерина Борисовна? Знаете, что я хочу сказать?

— Алеша, куды ты смотришь? — кричал Володя.

И Екатерина Борисовна, взволнованная

синим

табачным

туманом

и необычным тоном Алеши,

и жизнью, которая — только вечером,

лила дрожащей, непрофессиональной рукой, горячий чай на белые перчатки Алеши.

— Я вас люблю, Екатерина Борисовна.

А под утро Алеша спал на диване в комнате Екатерины Борисовны. Свисала до полу рука в закапанной белой перчатке; окурок сигары лежал на губах.

И на следующий день хмурый Алеша снова курил папиросы Лаферм.

И устав от медленного ритма

Туп-

-Тап,

Мы выходили на улицу. Горела зима, и снег хрустел под по-

дошвами, и блестели, отражаясь в стеклах витрин, дорогие меха проституток. По тротуару под фонарями двигалась вечерняя толпа, целый маскарад — презрительные, раскрашенные маски поэтов, яркие женские губы, тяжелые шубы коммерсантов, каракулевые саки аптекарш и

черная, широкополая, летящая по кривой линии — вниз, шляпа

и необыкновенное лицо

Розы Шмидт.

Если бы не существовало календарей с временами года, то Розе Шмидт —

я посвятил бы север.

Север, — прекрасную, мужественную страну, колыбель веселой революции, страну холода и румянца и далеких снежных пространств со следами лыж и четкими отпечатками волчьих лап.

Север. И восклицательный знак.

Север. И шаг вперед.

И вдруг в толпе мелькало лицо Люси, и знающие ее раступались, давая ей дорогу.

Люся была больна: ее ненасытная чувственность состарила ее в несколько лет. Ее знал весь город. Котиковое пальто ее было распахнуто на груди, точно она не чувствовала холода. Из под меховой шапочки, осыпанной снегом и пестрыми кружками конфетти, глядели бледные, растрескавшиеся губы: и взгляд Люси скользил по опускающимся глазам встречаемых и по передергиваниям плеч. За ней гурьбой шли гимназисты и реалисты, которых она вела в университетский сад, где было темно и тихо под тенью белых от снега деревьев.

Розу Шмидт мы называли сестрой, это было ее прозвище. Она училась — как и другие — в гимназии, танцевала — как и другие — на вечерах, а летом играла в теннис. Мы встречали ее вечером на улице, днем в библиотеке и утром, когда она шла в гимназию и ее туфли ступали по снегу и снег был на полях ее шляпы.

Она носила костюм фасона *tailleur* и длинные желтые перчатки.

Подходил девятнадцатый год и революция начинала задыхаться. Все же, до самого последнего времени, менялись смешные украинские названия месяцев и так же гремел Туп-Туп и победно светилась сигара Алеши.

Но туманной и необыкновенной зимой Роза Шмидт продала свое счастье и свою улыбку, и прекрасное слово сестра. Она променяла это на программу единственной партии, на сытные советские обеды, на бритый затылок и кожанную куртку Шурки Розенберга, помощника коменданта города.

Морозным и тусклым утром ее встретили: откинувшись назад и прищулив глаза, она шла под руку с Шуркой и два субъекта из комендантской команды следовали за ними на некоторой дистанции.

Потом пришли белые и случилось несчастье: Володя Чех был убит — мне не хотелось бы вспоминать об этом второй, более трудный раз.

Я знаю, что однажды я встречу Розу Шмидт и ей будет больше тридцати лет: я увижу эти накарминенные губы и глаза, оживленные лживым блеском беладонны.

И я вспомню о простом перечислении времени:
выстрелы, море, города.

И годы переместились — с тяжелым бильярдным грохотом, и Россия сдвинулась и поплыла. Это тоже был бунт.

Годы переместились, и время потекло по раскаленной зеленой равнине, где некогда проходили рыжие ахейцы вдоль берега коммерческого и стратегического пролива, по нищим переулкам города, где дым оттоманских папирос поднимался к небу прямо, как дым от костра праведника Авеля, по громадным уходящим перспективам венских дымчатых улиц и веселых бульваров Парижа.

По прежнему, как и в России, — толпа, целый маскарад масок, двигалась и шумела в разных местах, и я запомнил фигуры, остановившиеся в падении, и застывшие взмахи рук.

Но Россия остановилась, и годы, как шары, упали в лузы, в пропасти прошлого, в концы жизни.

Но сквозь тяжелую муть застывших лет

все повторяется, падает и снова упорно встает

эта неизменная история проигрышей,
это оглавление

этой жизни:

медленный ритм

Туп

Тап,

сигары Алеши,

треснувшие губы Люси,

шляпа и перчатки Розы Шмидт,

пейзаж севера и революции

и

затихший

грохот

России.

II. СЛАБОЕ СЕРДЦЕ

«Воззрите на птицы небесные».

Мы гуляли по улицам Константинополя, очень хорошего города. С европейских высот Рёга мы видели убогую яму Кассим-Паши, — рухнувшее величие могущественной тысячелетней империи. Мы падали в узкие переулки Стамбула, где маленькие ослы невымирающей древней породы возили на своих спинах связки дров и высокие корзины с провизией. Женщины с закрытыми лицами несли узкогорлые кувшины — это напоминало нам картинки из библии. Неподвижные турки, целыми днями просиживающие в кофейнях, постигали, как нам казалось, самые сокровенные тайны востока. Из этих тайн мы усвоили главную: искусство ничего не делать

Мы ничего не делали. Бродя с утра до вечера от площади Баязет до Таксима, мы ограничивались ругательствами, но воздерживались от каких бы то ни было предприятий. Мы спускались в Галату: живой женский рынок, — гречанок, турчанок, армянок, евреек, смуглых женщин, говорящих на непонятных языках, на невероятных волапюках. Женские руки хватали и останавливали нас; но мы были в безопасности, у нас не было денег.

Мы жили так несколько недель. Затем, когда нам надоел сверкающий вид Босфора, и прохладные ночи под мечетями, мы прокляли постигнутую тайну ориентализма и нашли иные пути, чтобы сохранить себя; мы не должны были погибнуть, — мы, свежий человеческий материал с громадным запасом ругательств и любви к свободе; мы, — ростки, вы-

растающие из обгоревших головней такой пламенной, такой неповторимой революции, такого великолепного костра.

В эту эпоху, отмеченную знаком скорости и суетливого солнечного потока, судьба столкнула меня с несколькими людьми и в течении месяцев и дней мы шли вместе — с одинаковыми ругательствами и разными взглядами. Их было трое: художник Сверчков, семинарист Крестопоклонский и капитан Огнев.

Когда я думаю о художнике Сверчкове, я вижу насмешливый луч солнца, ослепительно отражающийся в лысине этого человека.

Что такое, в конце концов, художник Сверчков? Он мужественно носил желтое зеркало на пустынном и диком черепе. Он был обширен и тяжел: я помню глухой рокот его громадного живота и безцветные блики его зеленых глаз. Отчаянный желтый галстук струился на его груди — по рубашке, которая некогда была зеленой. Сверчков глядел на нее с грустью и говорил:

— Elle était verte celle-ci !

И с язвительностью, которая мне много портила, я продолжал:

Il était artiste celui-là !

Сверчков был плаксив, тржественен и патриотичен.

Вечером, лежа под мечетью, он говорил:

— Братцы! Ей-Богу! Господа! А? Честное слово!

И капитан Огнев сердился:

— Вы беспредметны, Сверчков.

Я люблю вспоминать о Крестопоклонском.

Это был человек, утонувший в мечтательности. Он грезил громадными сигаретами и лиловым дымом русских кабарэ. И он потом переселился в страну своих грез: это значит, что он поступил в русский ресторан. У него был очень мягкий и сильный голос — и, может быть, теперь он сделал карьеру и поет гденибудь в Буэнос-Айресе и получает хорошие деньги. Волосы у него были послушные и тонкие, характер застенчивый и склонный к компромиссам. Но даже когда он пел тропари и кондаки, бессмысленный груз семинарских потерянных лет, даже тогда мы слушали его с удовольствием.

Капитан Огнев был разочарован больше других. Всю

жизнь его учили уставам, правилам артиллерийской пристрелки и внушали, что все построено на принципе дисциплины, повиновения и достоинства. Он поверил этой величественной и химерной схеме: он твердо знал уставы, честно командовал «два патрона, беглый огонь!» и не замечал ничего из многих вещей, его окружавших.

Но когда кончилась гражданская война, он увидел, что он совершенно не нужен. Еще иногда ночью во сне он кричал:

— Беглый огонь!

и просыпался. Голос Сверчкова возвращал его к действительности:

— Капитан, не стреляйте, пожалуйста. Кончилась ваша лавочка, капитан.

И капитан Огнев умолкал. Очень хороший был, между прочим, человек: верный товарищ, исключительно честный и бескорыстный.

Я вспоминаю о капитане Огневе, как о рыцаре приличной ненужности.

И были еще с нами два брата, кадеты какого то мифического сибирского корпуса. Только мы вчетвером, — кадеты, Крестопоклонский и я — только мы и были матерьялом, только мы и могли надеяться на будущее. Огнев и Сверчков были обречены на угасание. Сверчкову было тридцать восемь и Огнетридцать шесть лет. Сумма этих двух возрастов превышала ровно на две единицы цифру, в которой помещались мы все вчетвером.

Последний вечер мы проводили у лестницы мечети. Со следующего дня должны были начинаться наши хлопоты о квартире и о буржуазной жизни.

В этот вечер первым заговорил Сверчков.

— Когда я учился в Париже... — сказал он и всхлипнул. — Братцы, а? Ей-Богу.

А капитан Огнев запел тонким голосом. Помню эту песенку, которую он пел с очень грустными интонациями.

— Мы хоронили, господа, наши идеи — снова сказал Сверчков.

А капитан пел:

Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поет.

После капитана запел Крестопоклонский: но оборвал и не кончил. И ежась от холода, мы заснули.

И на следующий день мы все действительно устроились. Кадеты продали свои паспорта каким то малограмотным румынам, капитана Сгнева приняли на турецкий баркас для ловли рыбы, Крестопоклонский поступил в кабарэ, мне мои бывшие сослуживцы привезли восемьдесят метров сукна, которое я не успел получить на пароходе, а Сверчков взялся расписывать квартиру одной богатой гречанки.

Я поселился в отеле, принадлежавшем пяти румынкам. Они танцевали фокстрот, зарабатывали деньги и бегло говорили по французски. Дом, который они не то сняли не то купили у какого то прогоревшего турка, был скверным домом: все четыре его этажа поминутно вздрагивали от толчков улицы, а деревянная лестница тряслась даже под легкими ногами румынок. С утра до вечера дребезжали в буфетах тарелки и чашки; когда неподалеку вспыхивал пожар, румынки выскакивали из своих комнат и все в один голос кричали:

— Au feu ! Au secours !

Из окна моей комнаты я видел лишь крыши и куски неба и редкими ночами — зарева пожаров на азиатской стороне, голые, отчаянные люди, которых я принимал сперва за сумасшедших спортсменов, но которые оказались просто пожарными, бешенно мчались по тихим ночным улицам Константинополя. Греки и турки, продававшие какую то белую дрожущую массу или бублики — кричали под окнами, и румынки запускали в них пустыми коробками из под сардинок или в лучшем случае из под папирос.

Интернациональная толпа населяла европейскую часть города, — это было в период оккупации. Медленно выступали индусы, развевались короткие юбки шотландцев, англичане чопорно шагали по тротуарам — с видом оскорбленной добродетели; красные помпоны французских матросов реяли над толпой.

Однажды по Рёра проезжали английские батареи: дом дрожал, как в лихорадке, и я сказал румынке, которую считал главной, так как она была значительно толще других:

— Держите ваш отель, madame, он упадет в обморок.

— *Bh, ces sales turques!* — закричала она. — Но вам письмо, m-g, вы не видели?

Письмо было от Сверчкова. Он приглашал меня часам к девяти вечера в греческий ресторан «Америка». «Будут все наши».

Я пошел.

Кадеты жадно ели «кебаб», Крестопоклонский держал в руке бутылку самосского вина; капитан Огнев, успевший загореть за одну неделю, как негр, курил и любовался кольцами дыма. Но самым замечательным был Сверчков — в смокинге и черных лакированных туфлях.

Ресторан дымился; играл оркестр, и Сверчков взмахивал в такт рукой и падал со стула, но удерживался.

— Гречанка предложила ему жить у нее — сказали мне кадеты. Он получил хорошую монету и костюмы ее мужа, который сидит в тюрьме. Видите этот смокинг

— Я хочу, господа, — сказал Сверчков — сделать вам одно предложение. И Сверчков закачался на стуле. — Господа, когда я учился в Париже...

— Мы неоднократно имели удовольствие познакомиться с этой весьма поучительной подробностью вашей биографии, Сверчков — сказал я. — *Passons.*

— Господа, — снова начал Сверчков. — Вы знаете, что в России, во времена гражданской войны, в эту эпоху героизма и подвига...

— Сверчков, мы прочтем об этом подробно в плохих военных романах.

— Тогда я перехожу прямо к делу. Я встретил недавно Надю. Сверчков вынул платок. — О, далекое время моей юности!

— Это ерунда, Сверчков.

— Да, но Надя прекрасная женщина. Она была сестрой милосердия и всюду, где смерть сеяла свои жертвы...

— Выпейте сельтерской воды, Сверчков. Смерть не земледelec, она ничего не сеет.

— Всюду, где появлялся бледный призрак смерти, светлый и чистый образ Нади внезапно вставал перед глазами умирающих героев. Сколько раз я, раненный в грудь и преследуемый разъяренными красноармейцами...

— Справедливость требует отметить, что вы никогда не были на фронте, Сверчков, — вставил капитан Огнев.

— Дайте же мне говорить, господа. Я встретил Надю в Константинополе. Господа, вы читали Агнивцева: «у каждой продавшейся русской на ресницах слеза Богоматери». Господа, Надя согласилась провести с нами одну ночь. Это будет стоить десять лир, господа, меньше, чем по две лиры на человека. Моя хозяйка уехала в двухдневную прогулку на острова. Ее квартира к нашим услугам. Alors, сегодня ночью я приглашаю вас всех. Я думаю, через полчаса можно, пожалуй, двигаться. Предложение мое, кажется, принято единогласно.

— Нет, — сказал я, — я в этом не участвую.

— Добродетель? — язвительно спросил Сверчков. — так называемая липовая добродетель.

— Нет, я просто не хочу вспоминать о том времени, когда в Росси стояли длинные очереди за селедками. Я не люблю смотреть в затылок моему ближнему, в этом есть что-то унтер-офицерское. Короче, — я отказываюсь. Пусть выйдет ровно по две лиры на человека.

— Вольному воля, — холодно и независимо сказал Сверчков. — Но ежели, скажем, часика через три соскучитесь, заходите все таки. Это вам будет стоить одну лиру; кстати, лишняя тема для рассказа.

Я не спал в ту ночь, я работал. Уже под утро, часам к пяти я вспомнил о Сверчкове и о светлом образе Нади. Шагая по улице, я перебирал в памяти то, чему меня учили благочестивые служители церкви в этой темной юдоли скорби.

— Мария Египетская — думал я — и Мария Магдалина и сотни библейских проституток, угодных еврейскому Богу.

Я вошел в квартиру Сверчкова. Стукнувшись о порог, я упал на распростертое тело капитана Огнева.

Они все спали мертвым сном, все совершенно голые. Мебель была перевернута, ковры выпачканы. Свесившееся с дивана лицо Крестопоклонского налилось кровью. Кадеты спали прямо на полу — и в глубоком вольтеровском кресле я разглядел сквозь утренний сумрак белевшую массу Сверчкова. В глубине комнаты на кровати лежала Надя. На секунду, взглянув на ее измятое тело и кожу с синяками, на бледные, синие

полосы губ, я закрыл глаза и судорга жалости и печали свела мое лицо. Я вспомнил пафос Сверчкова:

— О, далекое время моей юности!

Сверчков тяжело лежал в кресле: на его гигантском черепе, прикрывая лысину, красовался зеленый веноч, сделанный из листьев хозяйкиного ободранного фикуса.

— Подумаешь, римлянин! — закричал я. — Вставайте, Сверчков, разбудите ваших знакомых!

Первой проснулась Надя. Она поднялась и села на кровати и закрыла лицо руками.

— Сволочи — злобно сказала она. — Женщины вам не жаль!

Был момент оцепенения. Юношеские округлые тела кадет дрожали от утреннего холода. Мутными и отягченными глазами посмотрел на меня капитан.

И вдруг Крестопоклонский, не вставая с дивана и опершись на голую волосатую руку, запел первое, что ему пришло в голову:

То не ветер ветку клонит.

И тогда Сверчков, этот старый негодяй и бездельник, заплакал. Его живот вздрагивал и трясся от рыданий.

— Ободрал фикус и плачет — презрительно сказал один из кадет.

— Небось теперь листья синтетиконом не приклеишь

Через несколько дней смокинг Сверчкова показался на моей улице. Он рассказал мне печальный финал их «развлечения»: после этой ночи обнаружилась пропажа хозяйкиных браслетов и колец.

— Она грозит донести в английскую полицию — сказал Сверчков. — Друг мой, в моем возрасте я не вынесу побоев бобби. Только вы можете меня спасти. Вы ведь собираетесь стать литератором. Напишите ей такое письмо, чтобы она растрогалась и простила меня. Если вы не можете сделать это, то на кой черт вообще вы занимаетесь литературой?

— Во всяком случае, совсем не для того, чтобы писать чувствительные письма гречанкам.

— Слушайте, напишите ей письмо. Ну, в стиле Поля Бурже, например.

— Письмо гречанке — и еще в таком стиле? Нет, Сверчков, вы сошли с ума.

— Но надо же что то делать

— Надо! — закричал я. — Но, черт возьми, это вам надо что то делать, а не мне. Мне ваша гречанка в высокой степени безразлична. И затем, — на каком языке я буду писать? Греческого я не знаю, французского она не понимает, наверное.

— У нее слабое сердце, вы знаете, — сказал Сверчков. — Ей-Богу, она меня простит. Но письмо все таки необходимо. Напишите по русски. Я отдам перевести, у меня есть знакомый грек из Одессы.

В это время пришли Огнев и Крестопоклонский.

— Письмо? — спросил Крестопоклонский. — Я напишу письмо.

И он написал:

Уважаемая мадам! Я, ваш квартирант и брат во Христе и единой греко-славянской церкви, припадаю к вашим стопам и молю вас простить мне роковой момент заблуждения. Я проклинаю людей, толкнувших меня на стезю соблазна. Я омою слезами раскаяния. Ваш Сверчков, художник.

— А что же он омывать будет? — спросил я.

— Это не важно, она все равно не поймет.

— И потом это слишком лаконично. И затем — кто это толкнул его на стезю соблазна?

— Вы всегда придираетесь — сказал Сверчков. — Посмотрим, что выйдет, а там пошлем другое письмо. Но я думаю, что и этого будет достаточно.

— У нее слабое сердце — пренебрежительно сказал мне через два дня Сверчков. — Я это всегда говорил. Да она и сама не скрывает. У меня, говорит, слабое сердце, я, говорит, вас прощаю. Покрасьте, говорит, пожалуйста, потолок моей спальни в синий цвет.

Я вспоминаю о Константинополе, как о трамплине для прыжка на запад, в будущее; и в ином аспекте, — как о городе синяго потолка, приютившего под своей синевой художника Сверчкова, обгоревшую головню российского костра.

Я вспоминаю о Константинополе, как о городе слабых сердец.

III. С М Е Р Т Ь П И Н Г В И Н А

Сергею Сергеевичу Страхову.

«Итак, ограничься поверхностью,
будем продолжать».

Мертвые души.

В этой душной электрической жизни я долго не видел птиц. Я запомнил еще с детства — круглые, зеленые крылья попугаев; осеннюю торжественность ворон; тупые и свирепые лица филинов; медленные и презрительные движения орлов.

И я знаю: остается скептический и всеильный жест: пожать плечами, лишенными крыльев.

Мне сообщили, что Аскет, которого я считал пропавшим навсегда, живет в Париже, на улице Муфтар. Я сейчас же пошел к нему. Я открыл дверь и увидел высокую белую птицу, ручного пингвина, принадлежащего Аскету. Вы представляете изумление человека, входящего в комнату и натыкающегося на безмолвную фигуру пингвина?

В следующую секунду я увидел Аскета.

Он сидел за столом и писал: по обыкновению, он не обернулся. Я поглядел на его широкую спину и белые листы бумаги, лежавшей на столе: я сразу узнал эту голову на короткой шее и волосы, падающие на плечи.

— Аскет, — сказал я, — здравствуйте. Мне помнится, что в последний раз мы виделись с вами в апреле семнадцатого года.

— Здравствуйте, — ответил Аскет. — Вы хотите сказать, что мне так и не удалось развить перед вами мысль об исторической значительности Калиостро. Садитесь.

И Аскет повернул голову и посмотрел на меня — из под

знакомой сплошной линии бровей. Я пожал ему руку. Отговорившись неохотой, он не стал защищать Калиостро. Он зато рассказал мне другое: о том, как он служил в красной армии, как попал в какой то научный институт, где безуспешно пытался учредить кафедру истории авантюры, как потом он уехал путешествовать. Он увлекся, рассказывая о составе тундровых и соланчаковых почв, об электрических эффектах полярного сияния. Там, на крайнем севере он подобрал пингвина.

— Его зовут товарищ Пингвин — сказал Аскет.

И он описал мне великий арктический океан и пустынные скалы, населенные миллионами братьев Пингвина. Затем он пожаловался на грязную воду Нила, на пошлость географии: на кой черт существуют эти розовые силуэты фламинго и вой шакалов и глупые пасти аллигаторов?

Потом заговорил я. Я об'яснил Аскету что мы стали похожи на пингвинов, мы потеряли крылья и трагически отяжелели. Я спросил его о России, родине безкрылых, стране больших расстояний. Я рассказал ему далее, что лэди Гамильтон и Лола Монтец были неизменными спутницами моей памяти. Я вспомнил фразу о перемещении координат — в прощальной записке, оставленной мне Аскетом десять лет тому назад, и сказал, что лишь недавно я понял страшное движение этих линий, прямой и жестокий разгон судьбы и услышал титанический скрежет ломающегося железа.

— Вы опаздываете, — сказал Аскет. — Кому нужны теперь ваши истории о бескрылых птицах? Почему вы так любите эту нелепую революцию, которая скучна и проста, как дважды два четыре? Оставьте лирический тон, не надо держать себя в таком постоянном напряжении.

Я повернул голову и посмотрел на пингвина. Белая птица насмешливо пожала плечами.

— Вы видите, Пингвин согласен со мной. Не надо делать героических усилий, описывая бильярдную, не надо говорить в повышенном тоне о неприятном запахе истории. Не надо волноваться, мой друг.

— Мне остается... — сказал я.

— Вам остается — повторил Аскет — пожать плечами, как это делает Пингвин. Я тоже думал, как вы, но я устал быть Дон-Кихотом. И это очень не ново. Шарлатаны делают исто-

рию, и я согласен быть безучастным зрителем. Вспомните, как бесславно кончились попытки порядочных людей комментировать мемуары времени. Разве никогда ваше воображение не рисовало вам бесплодности бескорыстия и разве вы не видели тысяч бестолковых трупов на полях Германии и Испании и на камнях Франции? Я вам говорил уже, что человечество бежит, задыхаясь, за гигантскими тенями шарлатанов, и шулерская фантазия направляет этот дикий поток. Не надо думать, что в этом движении лежит некий героический смысл.

— Товарищ Пингвин — сказал я — Аскет уехал на две недели в Берлин и оставил тебя на мое попечение. Подожди, я куплю тебе рыбы, и ты снова услышишь запах водорослей; я тоже его люблю, этот запах моря и спододы. Ты напрасно пожимаешь плечами, Пингвин, не надо быть таким скептиком. Ты даже не имеешь права на этот жест, ведь ты никогда не умел летать.

Я жил на квартире Аскета, шатался по городу, как я делаю это всю мою жизнь во всех городах, куда попадаю, и кормил пингвина. Вернувшись домой ночью, я засыпал и видел во сне ожившую математику, — летящие треугольники, качающиеся верхушки пирамид, вращение вписанных многоугольников, скользивших остриями по полированной линии окружности и бесшумное перемещение координат. Мой учитель алгебры входил в комнату, пройдя через три с половиной года, отделяющих меня от последнего класса гимназии. Он входил в комнату, как в класс и произносил свои обычные реплики:

— Великий метод аналогии!

И дальше:

— Понимаете? Лимит! Как? Лимит!

— *Limité en argent!* — кричал попугай из противоположного окна — и я просыпался. Он принадлежал художнику, у которого были грандиозные замыслы и ни одного сантиметра на их осуществление. И художник всегда говорил:

— Ah, ça... Ça serait très bien. Mais quand on est *limité en argent*...

Последнюю фразу он произносил чаще других и попугай ее запомнил.

По утрам мы с пингвином гуляли на набережных Сены.

Прохожие оборачивались, бросали изумленные взгляды на белую птицу и однажды я заметил снисходительную улыбку невысокого старика, провожавшего нас глазами.

— Ты напрасно не оборачиваешься, Пингвин, — сказал я птице — этот человек похож на знаменитого писателя, у которого есть книга — «Остров Пингвинов».

Я об'яснял пингвину дорогу, по которой мы шли.

— Ты видишь, — говорил я — вот это здание на другой стороне, это собор Парижской Богоматери. Посмотри на чудовища, летающие с его карнизов, это даст тебе представление о дьявольски жестокой истории католицизма и о религиозном вдохновении инквизиторов. Немного дальше начинается квартал святого Павла, где живет еврейская, польская и русская нищета Парижа. В этом богатом городе много бедных кварталов. В частности и мы живем не на самой лучшей улице. Но это ничего не значит; нам наплевать на паркетные полы и ковры, и теплые комнаты, Пингвин. У нас есть традиции искусства и беззаботность, как теплый костюм.

Аскет не вернулся через две недели. Прешел месяц, потом другой. Я оставался один с пингвином. Я ждал письма или телеграммы, но Аскет упорно молчал.

— Пингвин — сказал я — с твоим хозяином случилось что то неладное.

И Пингвин пожал плечами, — Пингвин, бескрылый и спокойный фаталист.

И вновь с необыкновенной горечью я ощутил медленное сползание времени. Время скользнуло между пальцами моих рук и диктовало мне строки, к которых я раскаивался. И на блестящей поверхности звонкого щита моей молодости появились тусклые, тяжелые пятна.

Как то вечером я случайно встретил Армана Дюкотэ. За стойкой ближайшего кабака он угощал меня тягучими ликерами и красной жидкостью Рафаэля. С отяжелевшей головой я заснул, не раздеваясь.

Среди ночи я проснулся. Пронзительное и тревожное чувство пустоты охватило мои мускулы и мой мозг. Я поднялся с

кровати и повернул выключатель. Синий свет из под синего абажура лампы осветил комнату.

Пингвин исчез.

Мы пришли однажды в Ротонду, я и маленький китаец-жонглер, мой знакомый. Темные и далекие волны музыки раскачивались над столиками. Я обвел глазами надоевший круг: трубки, сигары, папиросы, кэпки, шляпы, котелки. Черные гладкие волосы и нежный затылок женщины в мужском костюме обратил на себя внимание. От неожиданности я широко открыл глаза: рядом с ней сидел мужчина. Я не мог ошибиться.

Она обернулась. Я узнал эти неподвижные глаза, мужской пиджак, пробор на классической голове, улетающие высокие брови и широкие огненные губы. Одна из усердных прихожанок церкви Notre Dame des Champs: Alice Courbet.

Alice Courbet. Давняя враждебность связывала меня с ней. Года два тому назад меня познакомили с двумя женщинами — одной из них была Alice — в своем неизменном мужском костюме. Мне многое показалось странным. Я не поверил в неподвижность ее глаз, в срывающийся смех, в пустой и напряженный взгляд. Я смутно догадывался о причинах ее подчеркнутой нежности к подруге, высокой, вздрагивающей блондинке. Позже мне пришлось близко узнать Alice. Она не признавала мужской любви; с ней бывали только женщины. С тупой афишированной гордостью она курила опиум, вспрыскивала себе морфий и нюхала кокаин. Она умела находить себе любовниц, приучала их к наркозу и бросала их, когда они ей надоедали. Я ненавидел ее, хотя она была очень не глупа и чрезвычайно для женщины начитана.

— Мисс Грей, — сказал я ей, расставаясь, — мисс Грей, мне несколько не жаль ваших любовниц, которые кончают тюремной больницей или сумасшедшим домом. Мне несколько не жаль даже вас, Alice, дорогая мисс Грей, автор плагиата у Уайльда. Я позволяю себе отклонить высокую честь принадлежать к числу ваших постоянных знакомых, так как с вашего разрешения не люблю такого тривиального и буржуазного понимания искусства и примитивного жонглирования нелепыми и архаическими понятиями о зле, грехе и раскаянии. Я не-

навижу вашу религию, Alice, я считаю вашу профессию слишком вульгарной, достойной только невежественного эстетизма тротуарных святых и дешевых альфонсов.

И вот я опять увидел ее в Ротонде; она не изменилась. Я не видел лица мужчины, сидевшего рядом с ней, — я видел только подстриженный белый затылок.

— Тото, — сказал я китайцу — выйди покупать папиросы и посмотри, кто сидит с этой роуле, которая только что оборачивалась к нам. Ты мне опишешь его подробно.

— Это бледный человек, *mon vieux*, — сказал мне через пять минут китаец, прибавляя сельтерской воды в стакан с лимондом. — Очень бледный, который имеет двадцать семь или двадцать восемь лет. Он имеет тонкие губы и выющиеся волосы. И больше ничего. Нет, я забыл. Он имеет две брови, которые делают одну. Ты мне рассказывал вчера про вечного жида. Он имеет брови, как вечный жид.

Но я забыл об Евгении Сю, плохом писателе, и о вечном жиде, неудачном путешественнике. Я знал в моей жизни только одного человека со сросшимися бровями, Аскета.

Я вскочил и быстро подошел к столику Alice. Ее тусклые зрачки спокойно посмотрели в мои глаза. Рядом с ней сидел Аскет. Он коротко остригся: я никогда не видел его таким и поэтому не узнал его сразу. Лицо его осунулось и похудело: матовый цвет кожи приобрел восковой оттенок, заставивший меня вспомнить о страшных мертвенных ликах музея Grevin.

— Вы напрасно волнуетесь, — сказал Аскет и меня поразила ослабевший звук его голоса. — Да, я вам не писал, да я не уезжал из Парижа. Я уговорил Армана выпить с вами однажды вечером, это было мне нужно, чтобы унести пингвина. Я надеюсь, что вы не вздумаете, чего доброго, меня спасти? Насколько я знаю, вы очень не любите этот действительно бессмысленный глагол. Подождите мне отвечать, так как вы, по видимому, все таки находите нужным это сделать. Alice хочет сказать вам несколько слов. Вы знакомы?

Я кивнул головой.

— *Mon pauvre vieux*, — сказала тогда Alice и в голову у меня зашумело и я яростно оглянулся по сторонам, но не

увидел ничего хорошего. — У вас, повидимому, есть очень неприятная привычка интересоваться тем, что вас совершенно не касается.

— Он любит птиц, — невнятно сказал Аскет.

— Пусть идет в Jardin des Plantes, там он их увидит. Я не позволю вам вмешиваться в мои дела, *mon vieux*. Я не разрешу вам так оскорблять меня, как вы сделали в прошлый раз, когда пришли ко мне в последний день нашего знакомства. Вы не имеете права сравнивать мою жизнь с ремеслом альфонсов и уличных женщин. У вас хватило наглости обвинить меня в плагиате и осквернить память величайшего артиста. Я предупреждаю вас — и я увидел с изумлением, что ее глаза сузились и оживились — что если вы не оставите в покое меня, и м-г Александра, вам придется плохо. *Vous finirez mal mon pauvre*.

— Я не буду отвечать, — сказал я ей — мне наплевать на ваши угрозы. Но может быть вы, Аскет, все же захотите меня выслушать? Я не буду говорить об Alice, не буду касаться этой пошлой темы. Я ненавижу ее, как ненавижу католицизм и бессильные чудовища Богоматери. Я хочу сказать вам, — ну, хотя бы, несколько слов о России.

— Не надо, — устало ответил Аскет. — На кой черт мне эта страна, где мне не разрешили напечатать мои труды, где даже с кафедры я не мог говорить о Гамильтон и Калиостро?

— Хорошо, Аскет. Но где же товарищ Пингвин?

— Его больше не существует — сказал Аскет. — Alice вспрыснула ему слишком большую дозу морфия.

Я был в Jardin des Plantes: там сидят орлы в тесных клетках и запах птичьего царственного умирания тяжело струится через железные прутья.

В картинной галерее моего воображения я поставлю безмолвную белую фигуру пингвина, зеленые крылья попугаев, свирепые слепые лица филинов.

И я сохраню навсегда отблеск космических, недостижимых вершин чувства, грохочущего усилия и гремящего полета мыс-

ли, ледяной, арктической, кристальной свежести сердца и безмерного титанического ощущения гигантских дистанций, — которые дал мне впервые вид уносящейся журавлиной стаи.

Я знаю: остается пренебрежительное и ироническое движение: поднять и опустить плечи, лишенные крыльев.

ГАЙТО ГАЗДАНОВ

ГЛАВА ИЗЪ ПОЭМЫ

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты.

А. К. Толстой.

Распорядитель ласковый и мудрый
Прервал программу скучную. И вот —
В тумане электричества и пудры
Танго великолепное плывет.

Пока для танцев раздвигают стулья,
Красавицы подкрашивают рты.
Как пчелы, потревоженные в улье,
Гудит толпа, в которой я и ты.

Иду в буфет. Вдыхаю воздух пряный,
И слушаю, как, под стеклянный звон,
Там декламирует с надрывом пьяный,
Что он к трактирной стойке пригвожден.

Кричат вокруг пылающие лица.
И, вдруг, решаю быстро, как в бреду:
Скажу ей все. Довольно сердцу биться
И трепетать на холостом ходу!

А в зале, вместо томного напева,
Уже веселый грохот, стук и стон —
Танцуют наши северные девы
Привезенный с бананами чарльстон.

И вижу: свет костра на влажных травах,
И хижины и черные тела —
В бесстыдной пляске — девушек лукавых,
Опасных, как зулусская стрела;

На копья опираясь, скалят зубы
Воицственные парни; а в лесу
Сближаются растянутые губы
Влюбленных, с амулетами в носу...

Но в этот мир таинственный и дикий,
В мир, где царят Майн-Рид и Гумилев,
Где правят людоедами владыки
На тронах из гниющих черепов, —

Ворвался с шумом, по иному знойный,
Реальный мир, постылый и родной, —
Такой неприхотливый и нестройный,
Такой обыкновенный и земной!

И я увидел: шелковые платья,
И наготу девических колен
И грубовато-близкие объятия —
Весь этот заурядный плоти плен.

И ты прошла, как все ему подвластна.
Был твой партнер ничтожен и высок.
Смотрела ты бессмысленно и страстно,
Как я давно уже смотреть не мог.

И дергались фигуры из картона:
Проборы и телесные чулки,
Под флейту негритянскую чарльстона,
Под дудочку веселья и тоски....

Вот стихла музыка. И стало странно,
Неловко двигаться, шутить, шуметь.
Прошла минута, две. И вдруг, неожиданно
Забытым вальсом зазвенела медь.

И к берегам покинутым навеки
Поплыли все, певучи и легки;
Кружились даже, слабо щуря веки,
На согнутых коленях старики.

Я зал прошел скользящими шагами,
Склонился сзади к твоему плечу. —
Надеюсь первый вальс сегодня с вами? —
И вот с тобою в прошлое лечу.

Жеманных прадедов я вижу тени.
(Воображение — моя тюрьма).
Сквозь платье чувствую твои колени;
Молчу, и медленно схожу с ума.

Любовь цветов благоухает чудно,
Любовь у птиц — любовь у птиц поет,
А нам любить мучительно и трудно:
Загустевает наша кровь, как мед.

И сердцу биться этой кровью больно.
Тогда, себя пытаюсь обокрасть,
Подмениваем мы любовь невольной,
И тело телу скупой дарит страсть.

Моя душа не знает разделений.
И, слыша шум ее певучих крыл,
(Сквозь платье чувствуя твои колени)
Я о любви с тобой заговорил.

И мертвые слова затрепетали,
И в каждом слове вспыхнула звезда
Над тихим морем сдержанной печали, —
О, я совсем сошел с ума тогда!

Твое лицо немного побледнело,
И задрожала смуглая рука.
Но ты взглянула холодно и смело.
Душа, душа, ты на земле пока!

Пускай тебе и горестно и тесно,
Но, если скоро все здесь будет прах, —
Земную девушку не нужно звать небесной,
Не нужно говорить с ней о мирах!

Слепое тело лучше знает землю:
Равны и пища, и любовь, и сон.
О, слишком поздно трезво я приемлю,
Земля, твой лаконический закон!....

Тогда же, вдруг, я понял цепenea,
Что расплескал у этих детских ног

Все то, чем для Тобозской Дульциней
Сам Дон-Кихот пожертвовать не мог.

Все понял, остро напрягая силы,
Вот так, как будто сяду за сонет, —
И мне уже совсем не нужно было
Коротенькое, глупенькое «нет».

Прага.

Алексей Эйсер.

„ТИФОЗНЫЙ ЭШАЛОН“

Угрюмо вросшие в землю рельсы были пустынно. Где то в глубине, темной тяжестью, грудились составы.

На белом снеге затерянно чернели группы растерянных людей.

Чуть сутулясь по кавалерийски — левой свободно, правой отбивая, шел ротмистр Звягинцев.

Серебристые шпоры дрожали задорным, малиновым звоном.

Всматривался в надписи, пока не увидел: «Комендантское Управление».

«Где комендант?».

«Сейчас придут г-н ротмистр!» и кивнул головой на дверь.

Звягинцев прошел вглубь, взглянул на диаграмму поездов, лампу, грязный стол, прислонился к стене и слабость размягла тело.

Медленно мял пальцами фуражку, безразлично думал: «волосы растрепаны, пробор испорчен».

Но силы на привычное движение не было.

Болели глаза.

Жар разливался по телу, налитой тяжестью томил кисти рук, туманил окружающее, замедлял мысли и раскачивал сердце все быстрее и быстрее.

Хотелось лечь возможно скорей, и чтоб долго никто не беспокоил.

Раздраженно думал: «где его черти носят?» и прислонился к стене то спиной, то плечом.

С треском распахнулась дверь, вошел капитан, сорвал и бросил фуражку на стол.

Ротмистр подтянулся, подошел, звякнул шпорами и отпортовал сиплым голосом:

«Г-н капитан! Ротмистр Звягинцев по личному делу представляется».

Капитан, отдернув от стола руку, приветствовал его коротким наклоном головы.

«Г-н капитан! Я ехал из командировки в полк и заболел. Вероятно тифом. Прошу вас положить меня в лазарет или отправить санитарным поездом».

Капитан дернул головой.

«Куда я вас положу? Все лазареты эвакуированы! А вот видите?». Схватил бумагу и тряся ею почти закричал: «Видите!?! Станцию тоже эвакуировать будем! А там.....» он махнул куда то в сторону: «там одни броневики остались».

Ротмистр смотрел сухими блестящими глазами и раздраженно-беспомощно уронил:

«Я не могу дальше ехать. Я болен!».

Облизнул треснувшие губы.

Капитан придвинул стул: «Садитесь!».

Секунду смотрел ему в лицо:

«Одно могу вам предложить — тифозный эшалон. Через двадцать минут отправлю. Но там ни врачей, ни санитаров. Доедете до какой-нибудь станции, а дальше устраивайтесь сами в лазарет или санитарный поезд».

Ротмистр устало махнул рукой:

«Все равно. Лишь бы лечь где-нибудь».

«Идите на восьмой путь. Найдете?».

Ответил безразличным тоном «не знаю» и поднялся, глядя в угол. Горели щеки.

«Сидорчук! Проводить г-на ротмистра! Тифозный эшалон, восьмой путь».

«Слушаюсь г-н капитан!». Вопросительно взглянул на ротмистра.

Тот протянул руку, привычно звякнул шпорами «честь имею» и повернулся.

Раскачиваясь, позванивая сцепками медленно шел поезд.

Через определенно размеренные промежутки с треском встряхивался на стыках рельс.

В фонаре безтолково металось пламя.

В беспокойном свете, приземленной чернотой, душ двадцать вповалку на грязной, залежанной соломе.

В тяжелом запахе потных ног, махорочный дым качался и вился к дверям.

На бумаге, посланной на полу, Бельский пилил ножом по колбасе и перечислял живых и мертвых однокашников.

Ротмистр чувствовал голову большой и распухшей. Голос Бельского приходил как из поля, отдаленный и глухой.

Прислонившись спиною к стенке вагона, не мигая смотрел доброволец.

Звягинцев порылся в мешке и вытащил баклажку.

«Подарок английской нации» и протянул.

«Сволочь!» убежденно ответил Бельский и, принаравливаясь к раскачке вагона, забулькал в кружку. «Пей!».

Ротмистр поболтал жидкость, брезгливо скривил губы и быстро опрокинул кружку. По подбородку стекала водка.

Весь передернулся: «разводец!». И утерся.

Нехотя, жевал колбасу и смотрел, как Бельский выпил два раза подряд и остановился.

«Ешь!» указал ротмистр на колбасу.

«Противно», ответил Бельский и повернулся к добровольцу: «выпьешь земляк?».

«Покорнейше благодарим. За ваше здоровье!».

Выпил, истово вытер рот и тоном большого уважения:

«Крепость — первый сорт».

Офицеры улыбнулись:

«А еще выпьешь?».

Не отвечал прямо на вопрос, как будто извинялся.

«Холодно г-н ротмистр! Четвертые сутки еду. Вчера чуть не замерз, а сосед мой помер. Так я с него полушубок взял. К утру только согрелся, а то, право слово, вынесли б. Тут, как померет, так сперва теплое снимают, а опосля на станции санитаров кличут: выноси покойничка. Ваше здравие!».

«Порядки!» буркнул Бельский и стал мостить под голову вещевой мешок.

Ротмистр лежал с закрытыми глазами. Под веками было ощущение сухого песка.

Ломило череп. Наростал жар. Все глуше, сквозь шум в ушах, слышал ропот колес. Все быстрее и беспокойней билось сердце.

В фонаре колыхалось пламя и чернило тенью груды лежащих.

Люди ворочались, тяжело дыша, и протяжно бормотали.

Повизгивая обрушивался ветер и шуршал снегом по стенке.

Поезд шел медленно, казалось, нигде не останавливаясь, идет в полярную ночь.

Звягинцев с закрытыми глазами увидел огненные полосы, черточки, какие то рисунки, дом, лицо китайца.... Почувствовал легкую тошноту и оглушающий мрак....

В какой то комнате стол, на столе горит свеча, по ней спускается бугристая дорожка стеарина. Больше не видел никого и ничего, но ощущал кто то есть и даже слышал дыхание. От этого присутствия было неприятно и тревожно.

Желтое пламя, стоявшее неподвижно, качнулось вбок, заметалось, пригнулось и вдруг стало твориться что то непонятное.

Край стола и часть стены как в луче исчезли в непроницаемой черноте.

Сильней почувствовал кого то невидимого. Пламя приседало, уменьшалось, луч перемещался, исчезли стол и стены, тьма подвигалась к ногам.

В ужасе вспомнил: «Это черный свет!».

В комнате задышали, зашевелились и вдруг услышал сильный крик на-смерть запуганного человека: «братцы, ратуйте, братцы!».

И сразу открыл глаза, поднимаясь на локте.

Видел только один момент: черная тень, сломавшаяся в углу вагона; всклокоченный, с растегнутым воротом человек рвется вперед, ступая по лежащим. За ним поднимаются головы. Чьи то руки ухватили ногу.

«Куда ты стервь лезешь!».

Метнулись и человек и тень.

Застыв на месте, ротмистр чувствовал болезненные, резкие толчки сердца.

Только сейчас дошел до сознания глухой удар по стене. Подумал: «Наверно головой». И почти упав, дрожа от холода, потянул полушубок.

Как в каком то котле слышал далекие голоса, чью то возню.

Мысли рвались, обрывки сейчас же сплетались; хороводили десятки лиц.

Последнее, что ясно помнил, эта чья то громкая, надрывная икота.

Теперь не знал сколько ехал. День? Два? Неделю? Не мог сказать — не было меры.

Видел, что сумерки, а были они утренние, или вечерние — не знал.

Тело было потное.

Прилипло белье.

Щекоча ползали насекомые.

Бельский, лежа с закрытыми глазами, глубоко и часто дышал. Лицо лихорадочно румянилось, изо рта шел пар.

На дверях увидел белую букву Z. С удивлением присмотрелся и понял, что крестовина заиндивела.

Шел тихий разговор.

Его нарушила громкая, прерывистая икота.

Услышал: «не иначе, как помрет к вечеру».

Тогда решил, что сумерки вечерние.

Вытянул у Бельского фляжку и стал пить воду гулкими глотками.

Проскрипел снег. Кто то стучался.

Толчками открывали визгливую дверь.

«Уголь с паровоза... Сейчас трогаемся!...—»

Бросили на пол тяжелое. Кого то втаскивали.

Ротмистр закрыл глаза и забылся.

Слышал тревожные гудки.

Кто-то говорил: «Сказывали их конница пошла на перерез. Пройдем эту станцию — значит выбрались. А нет....» и замолчал.

Поезд ускорял ход. На стрелке сильно тряхнуло и Звягинцев открыл глаза.

В вагоне топилась печка.

Бельский, растегнув гимнастерку, шарил по груди и давил. «Проснулся?».

Отгнув ворот, пригнул голову, осмотрел и стал стаскивать гимнастерку.

«Одолела вша. Отогрелись малютки и стадами кочуют».

Приятной сухостью разливалось тепло, а по телу быстро семенила мелюзга.

Приподнялся и сел.

Вокруг печки розовели от отблеска пламени полуголые тела, давили и бросали на печку серо-грязных насекомых.

Ротмистр встал и остановился, чувствуя болезненные толчки крови в голову и слабую дрожь в ногах.

Осторожно, чтоб не наступить на лежащих, пробрался к печке и сел.

Разделся, как остальные, и стал выскребывать насекомых. Сосед справа внимательно осмотрел темную от грязи рубаху, вывернул ее наизнанку, еще раз осмотрел, растянул по шву, зажал его между зубами и потянул.

Шов соскочил, Солдат отплюнулся в печку и вытер рукою рот.

«Хош верь, хош не верь! А только такая вша против заразы действует».

Опять зажал шов зубами и потащил.

Внезапно послышался слабый, напряженный отчаяньем голос:

«Господи!...—».

Прервался икотой и еще раз сильнее, каким то выдохом:

«Осподи!».

Все обернулись и замолчали.

Кто то тихо спросил: «помирает?».

В углу копошились черные фигуры.

«Руки сложи. Перевязать надо».

Приподнялись и закрестились.

«Сосед! Как звали его?».

«Как будто Хведор!».

Колеса рокотали: катимся, катимся, катимся, стык.... катимся, катимся, катимся, стык...

Опять горело тело.

Опять в сумбурные клочья рвались мысли. В них вплета-лось неясным ощущением окружающее, сливалось в одно це-лое и тянулось щелями забора из курьерского.

Слышал тишину, когда останавливался поезд, потом визг открываемой двери, холодный ветер, чей то голос: «Станичник! Эй! Станица!... Скажи-ка там на станции покойник у нас. Убрать бы надо было».

И снова забытье... Сквозь него возня, топот ног, несли что то тяжелое. Обрывки разговора: «Мест нет!.... Тормаз...». Рав-номерный гул колес. Укачало.

В Киеве, на обрывах Днепра, сад. На голых деревьях ло-паются почки, показываются и быстро разворачиваются листья. Тревожная мысль: «не надо стоять. Большевики уже заняли!». В гуще зелени цветок один, другой и все в белой цвели. Лепе-стки сыпятся, снегом устилают солнечную дорожку, ветки гнутся от тяжелых, ало-красных вишень. Хочет сорвать. От дома чей-то крик, непонятный и далекий. С'ежился: «Накрыли!». Заме-тался. Напряженно вслушивается. Только бы понять что кри-чат.

От этой напряженной тревоги открыл глаза.

Всматривался, медленно понимая окружающее.

На оплывшей свече судорожно прыгало и стлалось пламя.

Лежал разбитый; потная рубашка холодила бок.

Услыхал слабый стук снаружи.

В рокот колес ворвался протяжный гудок.

Прислушался.... Снова стук и заглушенный голос, как вет-ром отнесло.

Стремительно повернулся, заползал взглядом и отшатнулся.

Встретился с широко открытыми глазами Бельского. Полу-сидя тот тоже вслушивался.

Молча смотрели друг на друга.

Опять тот же стук и глухой голос.

Ротмистр рванулся и осторожным шопотом:

«Ты слышал?».

Бельский тихо, но уверенно:

«Замерзнет».

«Кто замерзнет?» Повысил голос ротмистр.

«На той станции покойников выносили. Мест не было. Сло-

жили на тормазе до следующей. Ну и отошел кто то на чистом воздухе».

Бородатый доброволец, приблизив лицо к стенке стучал и кричал:

«Держись, браток! Как станем сичас пособим тебе» и так несколько раз.

В щелку порошило снегом. Бельский сосредоточено тыкал в нее соломой.

Поезд покачивался, лениво рокоча колесами.

Пламя ушло в подсвечник. Рябило от мельканья света и теней.

Ротмистр закрыл глаза. Прислушался — стучит.

Ночью чувствовал, где то стояли. Кто то наклонялся осторожно шевелил.

К утру дрожа от холода, подбирал ноги, ежился, беспокойно ворочался.

На плечо легла чья то рука. Осторожно трясла.

«Г-н ротмистр! Г-н ротмистр!».

Проснулся. В вагоне стоял остервенелый громкий говор.

«Г-н ротмистр! Полушубки то ваши скрали, а на ноге дырочка — видать пальцы отморозили. Растереть бы надо».

Из всех углов слышно было: «мать... мать... ботинки... шинель... мать..... Подсаживаютя сволочи... тифа не боятся».

В приоткрытую дверь, сгребали снег со стенки и терли ноги.

После нескольких взмахов руки не слушались, голова кружилась, порывисто билось сердце.

Выпростав вещевые мешки, натянули их на ноги, обмотанные полотенцем.

Легли, прижавшись друг к другу и укрылись двумя линеями.

Часто дышали и угрюмо молчали, боясь встретиться взглядами.

Поскрипывал снег, приближался знакомый стук осматриваемых осей.

Звягинцев и Бельский с удивлением осматривали пустой вагон и открытую дверь.

Когда смазчик поровнялся, Звягинцев окликнул:

«Эй, дядя! Что за станция».

Остановился:

«Одесса-Малая».

«А где остальные?».

Повертел молотком и пожал плечами:

«Поутикали хто куда?».

«А лазарета разве нет?».

«Так точно нету. Завтра утром подадут вас к пункту, там разберут».

«Слыхал?». Повернулся ротмистр к Бельскому.

«А ну дядя, помоги нам слезть».

«Никак нельзя! Невелено пускать тифозных и вшей на вас аж сыпятся».

«Тебе говорят!» Вскинулся Звягинцев.

Заскрипели уходящие шаги по снегу.

«Стрелять буду!» Крикнул Звягинцев и полез в кобуру.

Послышался топот убегающего.

«Сволочи, сволочи. Бросить без всякой помощи!».

Бельский молча смотрел на снег. Потом повернулся к ротмистру:

«Постой Павел Николаевич! Помощи нет. Значит надо самим выбраться. А уж там» длинно выругался «устроим тарарам!» и хлопнул по кобуре.

Ротмистр молча, трясущимися руками порывисто развязывал мешок. Смотал полотенце, снял носки.

Ноги распухли и налились до блеска.

Пальцы и пятка почернели.

«Видал?!».

Бельский протянул свою:

«Тоже, брат! Начисто отморозили!».

Держась за стенку попытался встать, застонал и тяжело сел.

«Да куда его черт двигаться! Шагу нельзя ступить!».

«Слушай Павел Николаевич! Вдвоем за ночь мы замерзнем. Следовательно или оставайся и подыхай, или ползи».

Сидя на полу, молча одевали шинели. В пальцах не хватало силы застегнуть крючки. Резали взгляд, приставшие соломинки, но отяжелевшие руки не поднимались.

Отдыхая после каждого движения разорвали, мешки и обмотали ноги.

Ротмистр подпоясавшись вынул из кобуры револьвер. Кисть сгибалась и дрожала. Осмотрев долго всаживал в кобуру.

Придвинувшись к краю двери, сосредоточенно смотрели на заснеженную землю.

«Ну так как?».

«Держи меня за ворот», сказал ротмистр: «а я попытаюсь на руках спуститься».

Вытянулся на животе вдоль двери и начал свешивать ноги.

Бельский лежа держал его за ворот.

Сползал сначала медленно, потом скользнул быстрее не удержался и упал в снег.

С серо-зеленым лицом, ухватившись за ноги, сидел раскачиваясь и мычал сквозь сжатые зубы.

Бельский смотрел и морошился.

Тихо спросил: «Больно?».

Ротмистр закрутил головой: «у-у-у...».

Через минуту оправился:

«Ну слазь, что ли?!».

Бельский чуть спустил ноги и подобрал.

«Постой!» сказал ротмистр и под'ехал к вагону. «Ты сначала спускай мне ноги на плечи, потом опустишь сколько можешь и вались на-сторону. Лучше на бок чем на ноги».

Бельский чуть коснувшись ногами плеч, разжал руки и, глухо стукнувшись, опрокинул ротмистра.

Молча полежали, потом осмотрелись и упираясь руками и коленями в снег, поползли к дороге.

Полы шинелей заматали снег.

На шее судорожно бился клубок. В глазах расплывались красные и зеленые точки и черточки.

Бельский оступился рукой в ямку, стукнулся лицом в снег, остановился и лег на бок.

Судорожно поддергивая р'от.

Ротмистр взглянул на него, отвернулся и просительно-ласково сказал:

«Бодришь Николаша! До дороги рукой подать!».

У Бельского сильнее дернулись губы. Быстро припод-

нялся. Голос сорвался в дрожи: «Обидно» и вытерев рукавом нос, ползли и задыхались.

Вовле дороги остановились, осматриваясь.

«Смотри!» и оба оживились.

Медленно под'езжал извозчик.

«Извозчик!» завопил Бельский.

Тот удивленно присмотрелся к странным фигурам, отвернулся и задергал вожжами.

«Извозчик!».

Тот еще раз обернулся и протянул лошадь кнутом.

«Стрелять буду. Стой!».

Выдернул ноган. Сухо треснул выстрел.

Рядом Бельский трясущейся рукой «брал на мушку».

Извозчик откинулся назад, сдерживая лошадь.

«Барин, голубчик, стой! Сейчас под'еду».

Заворачивал лошадь:

«Сукин сын! Ведь мы ж заплатим, а ты что?».

«Господин офицер! Да ведь нонче народ какой! А вы, про-сти Господи, лежите у дороги» и покосился на обнаженные ноги.

«Будет там разговаривать. Слезай поможешь. Видишь, что с ногами?».

Долго умащивались, потом скомандовали.

«В Комендантское Управление!».

Дернул вожжами и побежали шоссейные столбики.

В лицо дул свежий, морозный ветер и заносил снежинками из под копыт.

Ехали молча, оглядываясь по сторонам. Изредка встречались взглядами и, глупо улыбаясь, отворачивались.

Шоссе втянулось в ряды домов.

Лавки перемежались с магазинами.

Пестрели товарами витрины. По улице шли прилично одетые люди. В аптеке привычные синий и красный шары.

«Смотри!» засмеялся Бельский «смотри» опять оборвал смехом «Собачка» и залился откровенным хохотом.

У ротмистра дрогнули губы. Улыбнулся.

«Ты осел Бельский!».

И сам рассмеялся.
Вдруг весь подтянулся:

«Собачка?», переспросил почти угрожающе: «Да к черту мне твою собачку! Мы все возьмем! Лазареты, уход, ноги. Будем ходить, пить, любовь закрутим. Мы живем! Ты понимаешь?!?».

Двинул извозчика в бок:

«Гони, на полный ход!».

Извозчик дернулся и захлестал по лошади.

И. Тидеман.

«Скит»

Прага.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЗЕФЕ

1

Осенью 1896 г. я поступил в Дармштадский политехникум. В мирную провинциальную столицу великого герцогства гессенского я попал как раз в «русский» сезон. Александра Феодоровна — жена Николая II — была, как известно, гессенской принцессой и была очень привязана к своему фатерланду. В первые годы своего царствования Николай II обычно проводил с семьей конец лета и осень в Дармштадте и его окрестностях. Первый такой визит имел место в 1896 г.

В Дармштадте тогда студентов из России было немного и центром русской колонии была читальня, основанная лишь в 1895 году. Когда я заключил первое знакомство с соотечественниками, я узнал сенсационную новость. Перед приездом Николая, по распоряжению дармштадской полиции, был выслан из пределов Гессена на все время пребывания царя в Дармштадте один из членов читальни, по фамилии Азеф. Легко представить себе какое впечатление должен был произвести в это «доисторическое» время — тридцать лет тому назад — подобный факт и каким почтением должны были проникнуться к герою этого происшествия все члены нашей малочисленной колонии. Естественно, что с большим нетерпением ждали мы, новички, возвращения в нашу среду этого опасного для спокойствия венценосца человека.

Забегая вперед, должен указать, что впоследствии,

после разоблачения Азефа, об этом инциденте никем упомянуто не было. В частности, Столыпин в своем ответе на запрос в Госуд. Думе говорил о том, что Азеф учился в Карлсруе, где он, однако, провел лишь несколько семестров, до поступления в Дармштадский политехникум. Пишущий эти строки пытался письмом в редакцию «Русских Ведомостей» огласить этот факт и таким путем поставить вопрос о значении этой странной полицейской меры, но редакция «Р. В.» не сочла возможным опубликовать этого письма.

Николай, наконец, уехал и Азеф вернулся в Дармштадт из Гейдельберга, где он проводил свою «ссылку». Прошло однако несколько недель, пока мне удалось познакомиться с ним поближе. Дело в том, что он тогда как раз должен был сдавать полукурсовые экзамены. По общему порядку экзамены эти производятся дважды в год в последние недели каникул перед началом нового семестра. Если кто либо из кандидатов не может экзаменоваться в назначенный срок он должен ждать до следующей сессии через полгода, Азеф из за своей высылки срок пропустил, но обычно столь враждебные «нигилизму» немецкие профессора проявили по отношению к нему необычайный либерализм и назначили особую экзаменационную сессию специально для него одного.

Знакомство наше началось после сдачи Азефом экзаменов. Естественно, что всех нас интересовал вопрос о причине его высылки. Азеф однако явно уклонялся от разговоров на эту тему, указывая как то глухо на то, что очевидно полиция проследила, как он перевозил русский шрифт из Франкфурта н./М. в Берн. В первые дни нашего знакомства Азеф рассказал мне, что у него имеется библиотека русских революционных изданий, которой можно пользоваться за небольшую плату и предложил мне вступить в число ее абонентов, на что я охотно согласился. Библиотечка эта была по тому времени не дурная. В ней имелся комплект «Вестника Народной Воли», изданий Группы Освобождения Труда, Лондонского Фонда Вольной Русской Прессы и т. д. Имелись у него и глав-

нейшие издания «Международной Библиотеки» Дитца. Когда я выразил желание пожертвовать некоторую сумму студенческой читальне для выписки книг Азеф предложил в первую очередь приобрести сочинения Михайловского.

Азеф был тогда уже женат. Жена его училась в Берне, а ребенок их воспитывался в швейцарской деревне. Жил Азеф весьма скромно, от родных денег не получал и мне, как владеющему вполне немецким языком, пришлось неоднократно писать для него ходатайства в еврейские организации во Франкфурте н./М. о назначении ему пособия. Получал он поддержку и при посредстве профессора-еврея нашего политехникума Ландсберга.

Первые семестры мы жили с Азефом в смежных домах и вечера часто проводили вместе. От поры до времени к нему приезжала жена его, по внешности типичная «нигилистка», и тогда у них собиралась обыкновенно вся наша «левая» группа. Тогда еще не существовали ни Р. С. Д. Р. П. ни П. С. Р., но в легальной публицистике шла борьба между народниками и марксистами, и на наших чаепитиях с дешевыми бутербродами или франкфуртскими сосисками, обсуждались, понятно, вопросы общественные, а отнюдь не проблемы технических наук, которые мы изучали. Азеф был в народническом лагере и, проводя обычно каникулы в Берне близко сошелся с Х. Житловским, С. А. Раппопортом (Ан-ским) и др. эмигрантами-народниками.

Азеф совершенно не обладал ораторским дарованием. Когда мы в товарищеской среде встречали 1897-ой год (по старому стилю), он произнес небольшую речь по заранее заготовленной записке, но никакого впечатления она не произвела. Но зато у него было другое качество, которое в последующей его деятельности повидимому оказало ему хорошую службу, а именно крайний апломб. На всякий вопрос он давал ответ, хотя бы для него дело бывало, как оказывалось потом, далеко не ясным.

Азеф отнюдь не был «хорошим товарищем». Он любил иронизировать и подтрунивать над теми или иными

недостатками, бывал часто очень резок и порою даже груб, и лишь к немногим относился корректно. У него бывали более или менее острые конфликты с коллегами, и если уцелели протоколы заседаний членов нашей читальни, в них можно найти изложение столкновения его со студентом Г. Коробочкиным (еще до моего приезда в Дармштадт), закончившегося избиением последнего Азефом и исключением Коробочкина, обозвавшего его шпионом, из числа членов читальни. Близости, тесной дружбы ни у кого из нас с ним не было, но почти все относились к нему с большим уважением.

К занятиям по специальности Азеф относился далеко не ревностно и лекции посещал весьма нерегулярно. Уезжая к жене в Берн, он обычно оставался там не только во время каникул, но и значительную часть семестра. Он много помогал ей при ее работах в семинарии проф. Штейна и в связи с этим мне, например, пришлось перевести для него с французского на немецкий язык значительные выдержки из книги историка Валишевского о Петре Великом.

Под предлогом этого содействия жене своей при работах Азеф вместе с нею провел большую часть зимы 1897-8 г. г. в Гейдельберге, чтобы иметь возможность пользоваться книгами тамошней русской читальни (Пироговской), одной из лучших за границей. И в гейдельбергской русской колонии к Азефу относились с почтением. Из периода пребывания его в Гейдельберге стоит упомянуть два эпизода, один курьезный, а другой загадочный.

В Гейдельберге тогда находился нынешний авторитет по советскому государственному праву М. А. Рейснер, командированный на казенный счет для подготовки диссертации на звание магистра. Никто, и вероятно меньше всего сам Рейснер, тогда не мог предвидеть будущую его эволюцию. Тема его диссертации была очень благонамеренная (чуть ли не о божественном происхождении царской власти), вел он себя чрезвычайно благонадежно и не забыл захватить с собою из России православные иконы для украшения ими своей комнаты, как подобало истин-

но русскому ост-зейцу. Рейснер между прочим весьма ярко проявлял свои антисемитические убеждения. На этой почве у него вышло столкновение с группой студентов, в результате чего был поставлен вопрос об исключении его из числа членов русской читальни. Решающее заседание происходило под председательством Азефа и продолжалось всю ночь на пролет. В защиту Рейснера выступали..... сионисты, доказывавшие, что антисемитизм является так сказать нормальным состоянием для каждого не еврея. Большинство с этим не согласилось и М. А. Рейснера из числа членов читальни исключило.

Второй факт следующий. Недалеко от Дармштадта, в маленьком городке Пфунгштадте, некий др. Барнас содержал интернат с школой для еврейских детей. Один из прежних учеников этой школы, по фамилии Рахмилевич, в эту зиму учился в Гейдельберге. Рахмилевич по происхождению был из России, но вырос в Германии, русского языка почти не знал, от русских дел был далек и со студентами из России связи не имел. Исключение было сделано им по некоторым обстоятельствам для моих старших братьев, учившихся тогда в Гейдельберге. У них он часто встречал членов гейдельбергской русской колонии, в том числе и Азефа. С своим прежним Pensionspara Рахмилевич поддерживал сношения и от поры до времени посещал его в Пфунгштадте. Однажды, по возвращении оттуда он явился к моим братьям и рассказал следующее. В разговоре с доктором Барнасом он стал перечислять студентов из России, с которыми познакомился в Гейдельберге. Когда он при этом назвал Азефа, д-р Барнас воскликнул: «А, этот русский шпион, который выдает себя за революционера!». Велико было негодование моих братьев при этом рассказе и они, крайне возмущенные, разразились самыми резкими ругательствами и даже угрозами по адресу пфунгштадского педагога, чем привели в чрезвычайное смущение бедного Рахмилевича.

Когда я в конце 1909 года вернулся из ссылки, я встретил в Вильне Рахмилевича и хотел при его посредстве получить от Барнаса разъяснение этой загадочной истории.

Но оказалось, что Барнас тем временем умер, а Рахмилевич опасаясь очевидно «как бы чего не вышло», заявил мне, что он совершенно не помнит этой истории....

Мирно в общем протекала жизнь нашей дармштадтской русской колонии и нашей «социалистической» группы в том числе. Так как Россия тогда переживала лишь канун широкого общественного движения, внимание наше гораздо больше привлекала политическая жизнь Германии, т. е., главным образом, германское соц.-дем. движение. Наш кружок и Азеф в том числе — аккуратно посещал соц.-дем. митинги и некоторые из нас познакомилась ближе с местными деятелями соц.-дем. партии.

Осенью 1898 г. несколько человек из нашей группы, возвращаясь из Швейцарии после проведенных там каникул присутствовали среди публики на втором сионистском конгрессе в Базеле. С нами был там и Азеф.

Летом 1899 г. Азеф сдал экзамен на звание инженера и вскоре после этого поступил на службу к фирме Шукерт в Нюрнберге. Как полагается в таких случаях, была устроена прощальная выпивка и весь наш кружок — и народники и марксисты — по сему случаю снялся у фотографа на общей группе.

Велико было наше изумление когда мы узнали осенью 1899 г., что Азеф уезжает в Россию. Принимая во внимание упомянутый выше инцидент с его высылкой мы полагали, что для него поездка в Россию представляет большой риск. Однако, мы вскоре узнали, что он проехал вполне благополучно и получил место во Всеобщей Компании Электричества в Москве.

Последнее обстоятельство заинтересовало нас также не мало. По действовавшим тогда в России законам о евреях привилегии, которыми пользовались евреи, получившие высшее образование, не распространялись на лиц, обучавшихся за границей. Для окончивших за границей высшие технические школы в отношении права проживания вне черты еврейской оседлости оставалась лишь одна лазейка — примечание к одной из статей паспортного устава о так называемых «не цеховых» ремесленниках. Но

в Москве это примечание не могло применяться, так как со времени генерал-губернаторства Сергея Александровича евреи-ремесленники были лишены права проживать в Москве. Нас поэтому очень интересовало, каким образом Азеф устроился именно в Москве. В виду важности этого вопроса для многих из нас в будущем, я, по поручению некоторых товарищей, написал Азефу письмо с просьбой сообщить нам, каким образом он преодолел «правожительственные» затруднения: Ответа я не получил и мы решили, что, вероятно Азеф крестился, а писать об этом считает неудобным.

Связь наша с Азефом после его отъезда оборвалась и до нас доходили лишь случайные вести о нем окольными путями. Так мы узнали например, что в 1900 г. он приезжал к остававшемуся по прежнему в Швейцарии сыну своему и был в Париже на всемирной выставке.

П

Осенью 1901 г. я сдал дипломные экзамены и покинул Дармштадт. Зимой 1901-2 г. г. я провел в Берлине. Подъем революционного движения в России заметно отразился и в русских колониях за границей. К этому времени сложились уже русские социалистические партии, началось издание «Искры», «Зари», «Рев. России», «Вестника Русской Революции» и др. В крупных центрах скопления русских (главным образом студентов) образовались партийные группы.

Когда я был еще в Дармштадте там была основана группа с.-р.-ов. Толчком этому был дан из Гейдельберга, где летом 1901 г. собрался ряд лиц, впоследствии сыгравших видную роль в П. С. Р. (А. Р. Годц, Н. Д. Авксентьев, В. М. Зензинов, И. И. Фундаминский и др.). Из членов нашей дармштадской группы я ближе всех сошелся с своим однокурсником М. С. Витенбергом и мы с ним в последнее время пребывания моего в Дармштадте стали обсуждать планы совместной революционной работы в России.

В Берлине лидером с.-р.-ов был тогда Е. Г. Левит, ста-

рый эмигрант, один из участников последних народовольческих групп на юге России. Я с ним был знаком уже давно и во время пребывания моего в Берлине мы сошлись еще ближе. В результате разных бесед у нас наметился следующий план. Так как у меня была возможность получить некоторую сумму от своего отца на создание какого нибудь технического или коммерческого предприятия, мне надлежало воспользоваться этим и под завесой этого предприятия устроить нечто солидное в революционном отношении. Витенберг, оставшийся еще в Дармштадте, этот план вполне одобрил.

Русский политический сезон в Берлине в эту зиму был очень оживленный. Часто устраивались именовавшиеся тогда почему-то «конспиративными» собрания, на которых выступали с докладами видные лидеры Р. С. Д. Р. П. и П. С. Р. Конспиративность эта была весьма проблематичная так как отправлявшаяся на собрания публика громко вела в трамваях и вагонах городской железной дороги по-русски беседы на политические темы, и проследить собрание ничего не стоило. А в Берлине тогда, особенно после убийства министра просвещения Боголепова приехавшим оттуда Карповичем, имелась агентура русской охраны.

В конце февраля или начале марта 1902 г. я был на таком конспиративном собрании. Если память мне не изменяет в этот вечер с докладом выступал В. М. Чернов. Во всяком случае он был тогда в Берлине. Попал я очевидно на собрание с опозданием и мне пришлось стоять у входной двери. Вскоре после моего прихода я услышал за собой окрик: «Здравствуйте, Левин!» и, обернувшись, увидел.... Азефа с женой. В этот вечер подробно поговорить не пришлось и мы условились встретиться на следующий день в ресторане. При этой встрече Азеф рассказал мне, что он командирован Всеобщей Компанией Электричества на полгода в Берлин для ознакомления с постановкой производства на берлинских заводах этой компании. Ею были тогда приобретены заводы общества «Унион» в Риге и в намечавшийся руководящий коллектив этих

заводов был включен и Азеф, для чего ему и надлежало познакомиться с заводской техникой, т. к. в Москве Азеф работал лишь по проектированию электрических сооружений. При первых встречах, которые я имел с Азефом, беседа наша носила строго деловой технический характер без всякого отвлечения в область политики. Я рассказал ему, что я собираюсь по приезде в Россию открыть какое нибудь техническое предприятие, а он дал мне на основании своего уже солидного опыта ряд указаний и советов относительно того, что именно можно было бы предпринять с шансами на успех при тех небольших средствах, которыми я мог располагать. Таких встреч у нас было уже несколько, когда Азеф задал мне вдруг вопрос: «А что вы собираетесь делать для революции?». Я тогда посвятил его и в неофициальную часть наших планов. Выслушав меня, Азеф заявил, что в таком случае он пожалуй присоединится к нам. Меня это предложение очень обрадовало. Технический стаж Азефа был бы очень на пользу нам, только еще начинающим инженерам, а при революционной работе, у него также было преимущество в том, что он уже несколько лет был в России в то время, как я, например, с 14-летнего возраста с перерывом лишь на один год, находился в Германии и о российской действительности знал в сущности весьма мало. Однако в Берлене мы об осуществлении плана нашего совместного сотрудничества подробно не говорили, отложив это до встречи в России.

Я посещал Азефа и на дому и помню, что раз я застал у него В. М. Чернова и Х. Житловского. Вскоре после этого я уехал в Россию и до середины лета оставался в Вильне. Весною ко мне приехал туда М. С. Виттенберг, не задолго до того окончивший политехникум. Проезжая через Берлин, он также виделся с Азефом и, по предложению последнего, взял с собой два чемодана системы Менделеева (названные так по имени их изобретателя Менделя Розенбаума), в которых между стенками находилась нелегальная литература. После переезда границы В. заметил за собою определенную слежку. Путем всяких ком-

бинаций, на которые он был большой мастер и охотник, Виттенбергу удалось благополучно доставить чемоданы в Белосток и оттуда дальше по назначению и, продолжая свой путь, он остановился в Вильне. Когда он уезжал оттуда, он на вокзале опять нарвался на своего шпика и должен был снова маневрировать, чтобы избавиться от хвоста.

В середине лета 1902 г. я получил от Азефа открытое письмо, в котором он извещал меня, что вскоре возвращается в Петербург и выражал желание вернуться к вопросу, о котором мы беседовали в Берлине. Я вскоре после этого поехал также в Петербург и тогда начались уже по настоящему подготовительные шаги к осуществлению нашего предприятия. Виттенберг в них не участвовал, так как он жил тогда в Пскове, где получил временную работу при городской управе.

После ряда совещаний мы с Азефом остановились на том, что откроем техническую контору и мастерскую для изготовления сухих гальванических элементов. В течение всего подготовительного периода Азеф уделял организуемому нами делу много внимания и неоднократно заявлял, что, как только оно начнет функционировать, он откажется от места во Всеобщей Компании Электричества, чтобы всецело посвятить себя работе в нашей фирме.

Первым делом нам нужно было подыскать помещение. Для конторы нам нужна была «чистая» квартира, для мастерской же второразрядная и поэтому нам хотелось снять две квартиры по возможности в одном и том же доме. Мы нашли было такие две квартиры в доме на Николаевской улице, договорились с владельцем дома относительно условий, и на следующий день я должен был внести ему задаток. Оказалось, что домовладелец Трусевич, которого мы по его внешности и костюму приняли за типичного лабазника, действительный статский советник и доктор медицины. Когда я вручил ему задаток Трусевич спросил меня какие собственно элементы мы собираемся изготовлять в нашей мастерской. После моих объяснений он спросил меня: «А бомб вы не будете там изготовлять?».

На мой недоуменный вопрос, откуда у него такие подозрения, он заявил: «Мне говорили, Азеф, Левин за ними следят. Мне то все равно, лишь бы за квартиру аккуратно платили». В тот же день я пошел к Азефу, чтобы сообщить ему об этом странном инциденте и посоветоваться как быть. Я склонялся к тому, чтобы все же снять эти квартиры и этим подчеркнуть в глазах Трусевича и его информаторов, что мы совершенно чисты. Азеф же был против этого, исходя из того, что мы будем там всегда находиться под влиянием этого странного предупреждения и будем усматривать нечто подозрительное и тогда когда фактически для этого данных не будет. Мы решили поэтому от этой квартиры отказаться, о чем я под благовидным предлогом известил владельца дома письмом. Некоторое время спустя Азеф сообщил мне, что этот Трусевич брат тов. прокурора при петербургском губ. жандармском управлении (впоследствии директора департамента полиции и сенатора). Кто и с какой целью дал д-ру Трусевичу сведения о нас, для меня и сейчас остается загадкой. Вскоре после этого мы сняли квартиру на Раз'езжей улице.

Тем временем я стал входить и в нелегальную работу. Первый мой дебют был довольно оригинальный с точки зрения конспирации. Была уже поздняя осень, когда Азеф предложил мне поехать в Териоки, забрать на вокзале, хранившуюся там большую корзину с нелегальной литературой и поселиться в гостиннице, где надо будет оставаться пока литература эта мною и еще некоторыми лицами будет переправлена «на себе» в Петербург. Так как помощь извне была слабая я эту перевозку должен был произвести преимущественно один, уезжая утром и возвращаясь под вечер. Странное впечатление вероятно осталось у прислуги гостинницы от «туриста», приехавшего с весьма солидным багажом отдыхать, когда в Териоках уже никого не было и уезжавшего регулярно каждый день в город. Чтобы скорее закончить эту операцию я нагружал себя до крайней степени и раз чуть было не провалился. Тесемки не выдержали тяжести груза и из под моих брюк предательски вылезали номера «Рев. России». Я

должен был шествовать весьма «чинно», чтобы они не выскользнули совершенно.

В это же время я, по поручению Азефа, отвез небольшой транспорт литературы в Москву, где сдал его инженеру Московской Электрической Станции Зауэру. Некоторое время спустя Азеф передавал мне, что, по словам Зауэра, приезд мой был полиции, как видно, известен, так как у швейцара электрической станции были наведены соответствующие справки:

Постепенно было закончено и устройство нашей конторы и оформление нашей фирмы. Мы заключили у нотариуса товарищеский договор под фирмой «Электрическая Энергия». Так как нотариус нас лично не знал, нам пришлось пред'явить в удостоверение нашей личности паспорта. Я при этом просмотрел паспорт Азефа. В нем значилось, что он вероисповедания иудейского. Когда я спросил его как то, каким образом ему удалось получить право жительства в Москве, он заявил мне, что заведующий московским отделением «Всеобщей Компании» исходатайствовал для него у обер-полицмейстера Трепова соответствующее разрешение.

При нашей конторе мы устроили фиктивно в качестве служащего нашего товарища по Дармштадту, И. Шарге, приехавшего в Петербург с целью заняться пропагандой среди рабочих. Заработков у Шарге никаких не было, и Азеф заявил ему, что средства на жизнь будут ему выдаваться петербургским Комитетом П. С. Р. В те годы мы в России были еще очень далеки от европейских нравов и в частности чужд был нам тип платного партийного профессионала. Брать для себя лично партийные средства было очень тяжело и считалось чуть ли не преступлением. Угнетала необходимость прибегнуть к этому источнику и Шарге, человека вообще крайне впечатлительного и нервного. Для иллюстрации упомянутой уже мною выше манеры Азефа третировать людей, характерно, как он выдавал Шарге деньги. Вместо назначения определенной суммы на известный срок, Азеф выдавал ему по несколько рублей и спокойно ждал, пока тот опять попросит де-

нег. Это отношение действовало на Шарге очень тяжело и послужило отчасти причиной отказа его посвятить себя исключительно революционной работе.

После того, как мы водворились на Раз'езжей улице, интерес Азефа к нашему предприятию в официальной его части заметно ослабел, и он фактически никакого участия в нем не принимал. Настаивать на таковом и в частности на отказе его от службы в В. К. Э. впрочем и не приходилось, так как никаких доходов дело наше не давало.

Не налаживалось также и ничего серьезного в области революционной работы. Дело свелось пока что к получению по нашему адресу транспортов с нелегальной литературой, использованию нашей квартиры и пишущей машинки и вообще к выполнению всякого рода передаточных функций. В зиму 1902-3 года у нас был очень удобный передаточный пункт в общежитии женского епархиального училища около Александро-Невской лавры, где служила фельдшерницей член нашей петербургской организации Л. А. Ремянникова. После дежурства в течение суток она бывала на следующий день свободна, и таким образом мы всегда знали когда ее застанем и когда она сумеет выполнить то или иное поручение. Встречался я также тогда часто и с Ант. Алек. Мякотиной. С обеими я познакомился во время описанного выше пребывания своего в Териоках.

Осенью 1902 г. Азеф передал мне, что к нему обратились с просьбой послать хорошего пропагандиста к одному электромонтеру, некоему Орлину. Так как у него подходящего кандидата не было, он предложил мне начать «временно» посещение Орлина, тем более, что жил последний в центре города, на Мойке. Через некоторое время Орлин устроил мне связь с монтером Павловым на Выборгской стороне и еще с одним на Старопетергофском проспекте. К Павлову приходил еще один рабочий. Таким образом я стал пропагандистом. Наиболее восприимчивым для пропаганды казался Павлов. Помню, с каким восторгом он при мне передал своему товарищу «Подпольную Россию» Степняка, которую я принес ему вместе с дру-

гой нелегальщиной. Некоторые эпизоды он тут же пере-сказал своими словами и особенное восхищение у него вызвало описание того, как Софья Перовская при пожаре, возникшем в домике, из которого велся подкоп под железную дорогу под Москвой, бросилась с иконами к явившимся тушить пожар соседям и не дала им мешать «осуществиться каре божьей».

И я и Шарге в разговорах между собою находили, что эта моя пропагандистская деятельность собственно неуместна с точки зрения тех целей, которые мы ставили себе. Для такого рода работы не нужно было затевать организации нашей «Электрической Энергии», а с другой стороны весьма возможный для пропагандиста провал ликвидировал бы сразу все наши планы. Приехавший из Пскова Виттенберг обратил на это обстоятельство внимание Азефа, на что последний ответил, что он скоро найдет мне заместителя. Пока что я продолжал свою пропаганду и все шло как будто нормально.

В течение этой зимы шло весьма удачно распространение литературы. Азеф устроил передаточный пункт для получавшейся из за границы литературы в Лодзи под видом представительства нашей фирмы и мы оттуда получили несколько больших транспортов. Началась и издательская деятельность петербургского Комитета и, напр., к 8-му февраля 1903 года — празднику петербургского университета — была выпущена прекрасно напечатанная прокламация к студенчеству, которую мы распространяли почти открыто на вечере в университетской столовой. Судя по всему автором ее был профессиональный литератор. Оригиналом ее, писанный печатными буквами, Азеф показал мне еще в декабре 1902 года. Пришлось мне участвовать и довольно оригинальным образом в распространении прокламаций к членам с'езда ветеринаров, состоявшемся в Петербурге в конце 1902 г. Раз в воскресенье, в последний день с'езда, — Азеф пришел ко мне и предложил пойти к А. А. Мякотиной помочь ей при выписке адресов членов с'езда (по официальному бюллетеню) и разбрасывании прокламаций по почтовым ящикам с тем, чтобы на

следующий день они были доставлены утренней почтой. Кроме меня никто к А. А. не явился и работа затянулась до поздней ночи. Так как для большей предосторожности в один ящик надо было опускать лишь по несколько экземпляров, мне пришлось совершить весьма продолжительную прогулку по пустынным улицам Петербурга часов до 4-х утра.

В феврале или марте 1903 г. в под'езде дома, в котором мы жили, появились шпики, при чем они совершенно не пытались маскировать своего присутствия. При нашем разговоре по этому поводу Азеф высказался за то, чтобы мы потребовали от владельца дома удаления этих посторонних суб'ектов из под'езда, так как присутствие их нарушает обычный порядок. Мы однако на такую радикальную меру не согласились. В это же время родственник мой, у которого я провел первое время в Петербурге, сообщил мне, что в участок был вызван старший дворник дома, в котором он жил, с домовою книгой, по которой было установлено время моего проживания в этом доме. Ясно было, что назревают какие то события, и первым делом я прекратил свою пропагандистскую деятельность. Однако, ничего не произошло и шпики скоро исчезли. Азеф сообщил мне, некоторое время спустя, что кружки мои он передал одному студенту военно-медицинской академии.

Вскоре после этого Азеф пришел ко мне рано утром крайне взволнованный и рассказал, что только что был у Л. А. Ремянниковой ¹⁾ и установил что она была арестована. Для нас этот арест явился большим подрывом. Незадолго до этого была арестована и А. А. Мякотина.

На Пасху я уехал в Вильно, но провести там все праздники не удалось, так как я получил от Виттенберга телеграмму с приглашением немедленно вернуться в Петербург. По приезде я узнал следующее. Преемнику моему по пропаганде, студенту Крестьянину, упомянутый вы-

¹⁾ Л. А. Ремянникова была впоследствии привлечена к делу Гершуни, но военный суд ее оправдал.

ше Павлов признался, что он в действительности агент охранного отделения и входит в состав группы шпииков, руководителем которой является Орлин. Разоблачить эту тайну его заставили будто бы угрызения совести. По словам Павлова, я был ими выдан и должен был быть арестован, но арест этот не состоялся вследствие прекращения мною моих посещений. Продолжая меня называть Ждановым (такова была моя кличка) он, однако, указал Крестьянину, что я инженер и имею какое то дело на Раз'езжей улице.

Через некоторое время Азеф передал мне, что Крестьянинов желает повидаться со мною и указал мне адрес Крестьянинова и подходящее для свидания время. В опубликованных В. А. Бурцевым в «На чужой стороне» воспоминаниях Крестьянинова говорится, что о вызове меня Азеф ничего не должен был знать. Я, однако, помню определенно, что именно Азеф передал мне приглашение Крестьянинова.

Крестьянинов подробно передал мне о своих беседах с Павловым и при этом все время пристально наблюдал за мною. Затем он стал подвергать меня настоящему допросу. Несколько раз он настойчиво повторил вопрос давно ли я знаю того господина, который направил меня к Орлину и вполне ли я уверен в его политической чистоплотности. На оба вопроса я ответил, понятно, утвердительно и всячески старался убедить его, что в этом отношении никаких подозрений быть не может. Фамилии Азефа при этом разговоре ни Крестьяниновым ни мною названо не было. Когда я, вернувшись домой, передал подробности этой беседы Виттенбергу, последний был крайне удручен подозрениями Крестьянинова в отношении Азефа и все добивался от меня достаточно ли я энергично убеждал Крестьянинова в неосновательности их. Азеф, насколько мне помнится, уехал из Петербурга до моей встречи с Крестьяниновым и вернулся лишь в мае 1903 г. Службу свою в В. К. Э. он оставил еще раньше.

Об обвинении, выдвинутом Крестьяниновым против

Азефа и о третейском суде с участием Н. Ф. Аненского и А. В. Пешехонова я ничего не знал ²⁾).

Таким образом к весне 1903 г. все наши планы рухнули и в итоге мы впутались лишь в коммерческое предприятие, вдобавок весьма невыгодное с материальной стороны.

Уезжая из Петербурга Азеф оставил нам связь с Струмилло-Петрашкевичем (расстрелянным большевиками в 1918 г. в Самаре). Нам Азеф объявил, что уезжает по личным делам. В действительности поездка эта повидимому находилась в связи с выслеживанием Г. А. Гершуни, который в это время был арестован в Киеве.

По возвращении в Петербург, Азеф нашим предприятием опять таки совершенно не интересовался и наши встречи с ним касались только нелегальных дел. В это время мне опять пришлось вернуться к вопросу о том, каким образом Азеф собственно имел возможность проживать в Москве. Один наш коллега по Дармштадту, инженер Розенблюм, находившийся в это время в Петербурге, запросил меня об этом. Он имел возможность устроиться на заводе своего близкого родственника в Москве, но препятствием явилось то, что он, как еврей, не имел права жительства в Первопрестольной. Я со слов Азефа ответил, что в отношении его, дело это было улажено управляющим московским отделением Всеобщей Компании. Розенблюм написал об этом своему родственнику. Очень скоро последний ответил, что он был у руководителя московской конторы В. К. Э., с которым он был знаком, чтобы узнать, что и как было предпринято им для исходатайствования для Азефа права жить в Москве. Оказалось, однако, что этот господин никогда ни к Трепову, ни к кому бы то ни было другому с таким ходатайством не обращался и вообще впервые слышит о том, что Азеф в таком

²⁾ Как я узнал теперь из письма Виттенберга, он был вызван тогда А. В. Пешехоновым, который сообщил ему о возникших у кого то подозрениях против Азефа и спросил его, что он думает об этом. Виттенберг категорически отверг возможность таких подозрений, и А. В. Пешехонов со своей стороны согласился с ним.

ходатайстве нуждался. Когда я рассказал об этом Азефу, он заявил, что, вероятно, его прежний шеф опасался, что его будут просить оказать протекцию Розенблюму и решил отрицать все.

В это время Струмилло - Петрашкевич был арестован. Утром у него было свидание с Азефом и они условились встретиться к обеду в ресторане Немечинского на Садовой, который тогда часто служил для нас местом для всякого рода конспиративных встреч. Он, однако, к обеду не пришел. Азеф из ресторана явился к нам и высказал вскоре подтвердившееся предположение, что Петрашкевич был арестован на улице.

Живо припоминаю беседу мою с Виттенбергом после этого ареста. Я видел Петрашкевича лишь несколько раз мельком, Виттенберг встречал его чаще. Он производил впечатление серьезного революционера, старого народовольческого типа, и нам жаль было, что он провалился так скоро. Но Виттенберг высказал еще другое соображение. Принимая во внимание выяснившуюся роль Орлина, аресты Ремянниковой, Мякотиной и Струмилло-Петрашкевича, он опасался, что людям мало знающим Азефа, может, пожалуй, показаться странным, что именно он остается невредимым. Виттенберг опасался, как бы на этой почве не возникли против Азефа подозрения в роде тех, на которые намекал в разговоре со мной Крестьянинов и полагал, что если Азефу удастся еще долго избежать ареста, для него может создаться крайне тяжелое положение.

Постепенно разговор наш перешел и на другую тему. Азеф вел себя в отношении нас крайне конспиративно. Ни о составе петербургского Комитета нашей партии, ни о состоянии местной и общероссийской организации П. С. Р. мы ничего не знали. Не знали мы также ничего определенного о роли Азефа в этой организации. Однако, мы догадывались, что роль эта руководящая и во всяком случае, значительная. И я и Виттенберг в революционном деле были новичками и ко всем лицам, с которыми мы встречались, прикладывали масштаб революци-

онеров 70-х и 80-х годов минувшего столетия, о которых мы знали по исторической и мемуарной литературе. И Виттенберг прямо поставил вопрос, что могли бы мы, — близко знавшие Азефа в течение ряда лет, сказать о нем, если бы мы попали в положение мемуаристов. В Азефе не было и помину той личной привлекательности, которой так отличались, судя по описаниям современников, наиболее видные деятели прежних революционных эпох. Не могли мы на основании нашего знакомства с ним, признать в нем никаких выдающихся качеств, которые квалифицировали бы Азефа на роль руководителя и вождя. Одним словом к Азефу мы не находили возможности применить слова поэта: «Были люди в наше время!». Замечу, однако, во избежание недоразумений, что никаких сомнений в абсолютной политической безупречности Азефа у нас не возникало.

Помнится в начале июня Азеф заявил, что он уезжает опять на несколько месяцев сперва на юг для свидания с матерью, а потом за границу к своей жене и детям. Вернуться он предполагал к осени.

Ш

Летом 1903 г. я заболел, поехал лечиться за границу и попал в Монтре. Оттуда перед отъездом в Россию я заехал в сентябре в Женеву, тогдашний центр русской революционной эмиграции. Из старых своих знакомых я встретил там О. С. и А. Н. Минор, которых я знал еще по Вильне и Е. Г. Левита с женой. Был там в это время и Азеф. Он познакомил меня с М. Р. Гоцом и специально отправился со мной к Е. К. Брешковской, чтобы отрекомендовать меня ей. По отношению всех этих лиц к Азефу не трудно было видеть, что он пользуется у них чрезвычайным уважением.

Перед моим отъездом из Женевы Азеф говорил мне, что и он скоро вернется в Петербург и тогда уже возьмется энергично за нашу «Электрическую Энергию». При-

ехал он лишь в конце 1903 г. и на этот раз не скрыл от нас, что приехал нелегально. Несмотря на то, что наша квартира вследствие изложенных выше обстоятельств далеко не могла считаться чистой в полицейском отношении Азеф бывал у нас очень часто, чуть ли не ежедневно и просиживал целыми часами. К этому времени я и Виттенберг жили на Знаменской улице. В доме № 13 была наша контора, а во дворе дома № 2 мастерская. Преимущественно через Виттенберга Азеф передавал разные конспиративные поручения и сносился с работавшей тогда в Петербурге Серафимой Кличоглу. В январе Азеф уехал на короткое время в Москву, при чем взял с собою как легитимацию деловой цели своей поездки несколько образцов изготовлявшихся нами элементов.

В это же время с каким-то поручением, уехал на один день в Выборг Виттенберг. По возвращении он устроил мне грандиозную сцену из-за того, что я в его отсутствии передал кому-то пачку «Рев. России», не оставив для него хотя бы одного номера. Дуясь друг на друга, разошлись мы на сон грядущий. Однако, долго спать не пришлось. После полуночи нас разбудил стук традиционного «телеграфиста» и квартиру нашу наполнила «средиземная эскадра». Ордер был на производство обыска у Виттенберга и безусловный арест его. Меня отряд полиции взял с собою в дом № 2 для производства обыска в нашей мастерской. По тому как производился этот обыск видно было, что рассчитывали найти если не готовые бомбы, то по крайней мере взрывчатые вещества. Для производства гальванических элементов употребляется угольная пыль, химический состав «трагаит» и пр. К каждому мешку и банке полицейские подходили с большой опаской, а меня все время полицейские держали за руки. Обыск в обеих квартирах, однако, ничего компрометирующего не дал и Виттенберг уже не сердился больше за то, что я днем сплавил «Р. Р.». По окончании обыска Виттенберг был арестован и я остался в далеко не блестящем уединении. Арест этот вышел очень не кстати. Как раз в это время мы заканчивали разработку проекта

освещения г. Ямбурга и вели переговоры о такой же работе с Витебской городской управой, от которой через два дня после ареста Виттенберга было получено согласие на наше предложение и приглашение приехать в Витебск для начала подготовительных работ. Я не знал, как мне справиться с этими работами, т. к. с выбытием из строя В. мне отлучаться из Петербурга было трудно.

В ту же ночь был арестован и ряд других лиц, с Кличоглу во главе. Через несколько дней Азеф сообщил мне по телефону, что он вернулся из Москвы и хочет зайти к нам. Я дал ему понять, что визит его неуместен и мы встретились в ресторане. Я поставил его в известность об арестах и рассказал также о том затруднительном положении, в котором я очутился. Мы условились с ним встретиться опять, причем местом встречи он избрал отдельный номер в бане в Казачьем переулке. В назначенное время он не явился и я прождав его довольно долго, отправился *volens volens* мыться один. Однако, через некоторое время раздался стук в дверь и оказалось, что это пришел Азеф. Он заявил мне во время этого свидания, что он устал от революционной работы и хочет месяцев на шесть отойти от нее. Он поэтому охотно готов поехать в Витебск и пробыть там все необходимое для разработки проекта время. Это дало бы ему возможность отдохнуть и кое что заработать. Я обещал подумать об этом, но тут же решил про себя от этого предложения отказаться. Дело в том, что отношение его к нашему злощастному делу казалось мне непонятным и вызвало у меня постепенно сильное раздражение против него. Для меня стало ясно, что он с нами совершенно не считается и всегда действует так, как он находит нужным, не посвящая нас в свои намерения и соображения. Я не мог поэтому быть уверенным, что он действительно закончит работу в Витебске и не бросит ее почему либо, заставив меня отдуваться перед Витебской управой.

Об этом разговоре с Азефом я часто вспоминал впоследствии, когда после октября 1905 г., постепенно роль его в боевой организации П. С. Р. стала известной

более широкому кругу лиц. Ведь в то именно время, когда происходил этот наш разговор в Северной гостинице погиб от взрыва бомбы, предназначавшейся для Плеве, член боевой организации П. С. Р. Покотилев. Для меня это желание Азефа отойти — пусть временно — от работы Боевой Организации в момент когда она была занята таким серьезным делом, было загадкой. Ведь именно в 1904 г. работа эта велась особенно интенсивно пока полгода спустя — 15 июля 1904 г. — была закончена успешно Е. Сазоновым.

После разоблачения Азефа выяснилось, что Кличоглу и арестованные вместе с нею, в том числе и Виттенберг, были выданы им. Кличоглу независимо от Б. О. готовила покушение на Плеве, о чем было известно Азефу.

В январе 1904 г. приехал в Петербург Е. Г. Левит, с которым у меня было несколько свиданий. Он очень скоро был арестован в Смоленске опять таки по указанию Азефа. Между прочим Виттенберга жандармы усиленно допрашивали о его сношениях в Берлине с Левитом и Азефом до его приезда в 1902 г, в Россию.

Виттенберг пробыл в заключении около полугода и одно время содержался в Петропавловской крепости. В начале июля 1904 г. он был выпущен на свободу.

После описанной выше беседы нашей, Азеф уехал из Петербурга и встречи наши надолго прекратились. Летом 1904 г. я получил от жены его письмо из за границы с просьбой сообщить ей где он, т. к. она давно не получала от него ни писем ни денег. Я пошел для наведения справок к А. В. Пешехонову, служившему тогда в страховом обществе. Когда и при каких обстоятельствах я познакомился с А. В. я сейчас не могу точно установить, но в это время он меня знал настолько, что беседа наша началась сразу без всяких паролей. Оказалось, что и он ничего определенного про Азефа не знал. Для А. В. было полной новостью, что у Азефа есть жена и дети.

Осенью 1904 г. А. В. вызвал меня в редакцию «Русского Богатства» и передал мне по (полученному из за границы) поручению Азефа о состоявшемся в Париже

совещании представителей П. С. Р. с делегатами группы «Освобождения» и некоторых национальных революционных партий относительно согласования и координации своих выступлений. В связи с этим совещанием ко мне должен был, как передавал через А. В. Азеф, явиться представитель одной из кавказских партий. Никто однако не явился.

Осенью 1904 г. я опять, по совету врачей должен был уехать за границу лечиться. Всю зиму я провел в санатории около Франкфурта на Майне, и я тогда решил ликвидировать «Электрическую Энергию». В конце декабря 1904 г. ко мне приехал туда Виттенберг и за одно съездил в Женеву повидать партийное начальство. Оттуда он заехал и в Париж для свидания с Азефом. На обратном пути он был опять у меня и уехал как раз в Красное Воскресенье, 9-го января 1905 г. Вечером он вызвал меня из Франкфурта по телефону. Первые слова его были: «Левин, в Питере революция!». Затем он вкратце передал мне сообщения экстренных выпусков «Frankfurter Zeitung». Тяжело было быть в такое время одному среди совершенно чужих людей. С жадностью я набрасывался на все газеты, которые только можно было достать и особенно зачитывался очень подробными телеграммами Диллона, тогда еще не перекочевавшего в стан Витте, в «Daily Telegraph».

Я сейчас же написал Азефу и просил его иметь меня в виду при отправке людей в Россию, которая, по моему убеждению, должна была начаться немедленно особенно усиленным темпом. В ответ я получил от него очень нежное письмо, в котором он настойчиво рекомендовал закончить курс лечения и предложил встретиться тогда.

Весною 1905 г. я опять попал в Женеву, но Азефа там не оказалось. Для оформления ликвидации нашей фирмы мне нужно было получить от него доверенность. Я написал ему по указанному мне М. Р. Гоцем, адресу в Вену, но ответа не получил. В результате мне пришлось по возвращении в Петербург совершить подлог. Поупражнявшись немного, я подделал на заявлении о передаче

нашей фирмы, которое нам пришлось подать в Купеческую Управу, подпись Азефа.

Летом 1905 г. я встретился с Азефом в Москве, куда я поехал для передачи ему какого то поручения от Н. Д. Авксентьева. Встреча наша произошла вскоре после убийства Куликовским ²⁾ московского градоначальника Шувалова. Я высказал Азефу свои сомнения относительно целесообразности таких террористических актов против второстепенных представителей администрации, которые к тому же ничем особенно себя не проявили. Он заявил мне, что и он противник такого измельчания террористической борьбы и самостоятельных действий местных боевых групп. При возвращении в Петербург, в купе, в котором я ехал, был лишь еще один пассажир, в котором совсем не трудно было узнать шпика.

IV

Зиму 1905-6 г. г. я провел в Москве, занимаясь преимущественно кружковой пропагандой. После октября 1905 г.: конспирация ослабела, ход событий еще не определился и среди партийных товарищей живо обсуждались вопросы о том, какие последствия должна будет иметь изменившаяся обстановка для дальнейшей тактики партии. Все почти свободное время я проводил на квартире члена Московского Комитета П. С. Р.-Я. О. Гавронского, у которого до декабрьских событий часто собирались видные работники московской организации.

При одной из таких бесед я как то указал на то, что есть у нас с.-р.-ы и с.-д.-ы, большевики и меньшевики, но нет революционеров в настоящем смысле этого слова, которые сумели бы, по выражению Лассалья — уловить ту точку, в которую надо бить и концентрировать все силы, на ударной задаче. Хозяйка дома, Р. И. Гавронская, с которой мы были в большой дружбе, укоризненно за-

³⁾ Расстрелян большевиками.

метила мне, что я повидимому очень плохо разбираюсь в людях, иначе я должен был бы знать такого человека. Хотя никакого имени она не назвала при этом, я понял, что она имеет в виду Азефа, о роли которого в партии, она, по родственным своим связям близкая к верхам П. С. Р., знала многое. Я ответил ей, что догадываюсь на кого она намекает, но что по вынесенным мною впечатлениям, я по совести ничего выдающегося в этом лице не нахожу и трудно представляю себе его в роли революционного вождя.

Весною 1906 г. перед открытием первой Государственной Думы я встретился один раз с Азефом в Москве. Я пробовал при этом выяснить как он оценивает дальнейший ход событий, но он ограничился общим местом: «Надо выждать, что даст Государственная Дума».

В начале июня я перебрался в Петербург и немного сотрудничал в издававшейся там тогда партийной газете, пользовавшейся большим успехом у читающей публики и не меньшим вниманием цензурного ведомства. Когда я в один прекрасный день входил в редакцию, меня у ворот остановил человек, которого я не сразу узнал. Он оказался моим старым знакомым, «монтером» Павловым. Он просил меня назначить ему свидание, т. к. ему необходимо поговорить со мною. Я однако от продолжения разговора уклонился и прошел в редакцию. Через день или два он опять меня остановил у входа в редакцию и вручил мне письмо. В нем он сообщал, что после того, как он выдал свой секрет Крестьянинуву он был арестован и содержался в заключении несколько лет пока ему удалось бежать из самарской тюрьмы. Он просил дать ему возможность отомстить тем, которые его «честного монтера» превратили в охранника. «Не забывайте, что я выдал вам такого опасного человека, как Орлин!», заканчивал он свое послание. Ближайшие друзья, не советовали мне реагировать на это письмо и в этом же смысле высказался также А. А. Аргунов, которому я рассказал вкратце историю многих сношений с Орлиным, Павловым и др. Больше я П. не видал.

За два дня до роспуска первой Государственной Думы на редакцию нашей газеты был совершен полицейский налет и все находившиеся в редакции, конторе и типографии лица были арестованы. Арестован был и я. Подробности этого довольно торжественного полицейского действия были недавно описаны В. М. Черновым в статье, посвященной памяти А. И. Гуковского. Власти придали этому аресту большое значение ибо в опубликованном на следующий день в газетах официальном сообщении было указано, что в помещении газеты «Мысль» задержан Центральный Комитет П. С. Р. Среди нас были действительно члены Ц. К. (Н. И. Ракитников и А. А. Аргунов, удравший вместе с Черновым, но скоро задержанный в Белоострове) и ряд других лиц, хорошо известных департаменту полиции по своему прошлому (А. И. Гуковский, В. Е. Павлов, которому генерал Иванов так и заявил: «Прошлое прощено, но не забыто»). Однако Жандармское Управление отнеслось к нам совсем не страшно и допросы носили скорее курьезный характер. Мне, напр., генерал Иванов на допросе заявил: «Охранное отделение считает вас членом Ц. К. П. С. Р.». Когда я возразил ему: «Передайте Охранному Отделению, что для этого утверждения у него нет **никаких** данных», он взял папку с моим делом, в котором, однако, ничего не оказалось. После ареста все компрометирующее из комнаты, в которой я жил, было убрано близким моим другом С. М. Рапопорт (ныне женой моей) и в качестве криминала, полиция нашла лишь извещение Виленского Комитета Бунда с октябрьских дней 1905 г. о разрешении им возобновления работ в пекарнях. Иванов торжественно заявил: «Вот видите!» и стал, отчеканивая, читать заголовков «Российская Социалдемократическая Рабочая Партия. Всеобщий Еврейский Рабочий Союз в Польше и Литве». На мой вопрос какое собственно отношение имеет Ц. К. П. С. Р., к которому я якобы принадлежал, к Р. С. Д. Р. П., он ответил: «Это ничего не значит. Можно быть и тут и там!».

Отделались мы все сравнительно очень легко. В за-

ключении мы были неполных три месяца и были приговорены к административной ссылке на три и два года, причем всем она была заменена выездом за границу. Всего нас было выслао человек десять. Некоторые — Аргунов, Ракитников, Гуковский и Владимир Чернов — сейчас же из Берлина вернулись через Стокгольм и Финляндию в Россию. Некоторые же решили остаться короткое время за границей. В. Е. Павлов и я поехали на поправку в Нерви.

В. Е. Павлов входил в состав группы соц.-революционеров, которая выпустила в России первые № № «Революционной России». На переселенческом пункте в Томске, где он заведывал больницей, была устроена нелегальная типография для печатания «Р. Р.».

В 1901 г. типография провалилась, причем вина в этом приписывалась одной из фельдшерниц этой больницы. Арестованы были и московские члены группы (супруги Аргуновы и др.) и работавшая в томской типографии фельдшерница Севастьянова. Аргуновы и Павлов попали в Якутскую область. А. А. Аргунов из ссылки бежал и занял руководящее положение в П. С. Р.. Павлов остался в ссылке до амнистии 1905 г., в Европейскую Россию попал уже после декабрьских событий и сразу принялся за партийную работу, причем специализировался в профсоюзной области.

Благодаря близкому родству с Аргуновым, женатым на сестре его, Павлов был в курсе и центральных партийных дел и знал многое о всех руководителях партии, в том числе и об Азефе. До того времени о котором идет речь Павлов, однако, Азефа ни разу не видал, и когда он узнал о моем близком знакомстве с ним, он подробно спрашивал меня о впечатлениях, вынесенных мною из этого знакомства. Мои сдержанные отзывы приводили Павлова в большое недоумение.

Скоро ему представился неожиданный случай познакомиться с Азефом. В Нерви жила тогда вдова казненного в 1889 г. в Якутске М. Коган-Бернштейна. Н. О. Коган-Бернштейн со своим сыном (расстрелянным большевика-

ми в 1918 г.). В декабре 1906 г. она получила от Азефа письмо, из Генуи о том, что он проездом вынужден был задержаться там в виду нездоровья жены своей. Так как ему не хотелось обращаться к итальянскому врачу он через Н. О. просил доктора Павлова заехать к ним. Павлов очень обрадовался возможности познакомиться с Азефом и мы все сейчас же отправились в Геную. Болезнь жены Азефа оказалась не серьезной и скоро разговор перешел на политические темы. Когда мы вошли в номер гостиницы, в которой жил Азеф, я обратил внимание на лежащий на комодe чертеж электрического двигателя. В полном недоумении я спросил Азефа: «Вы продолжаете еще интересоваться электротехникой?» на что он ответил: «В последнее время в области конструкции двигателей достигнуты большие успехи», а затем прибавил: «Это может иметь значение...», не договорив для чего именно. Такая его манера говорить для меня не была новостью, и я понял, что он имеет в виду какое то применение электрических двигателей в террористических целях. Теперь известно, что Азеф выдвинул совершенно фантастический, особенно при тогдашнем состоянии воздухоплавательной техники проект применения для террористических актов летательных аппаратов. Очевидно с этим был связан и его интерес к новым типам электрических двигателей.

Оставив Н. О. Коган-Бернштейн с женою Азефа в номере, мы втроем пошли осматривать город и поехали кататься по морю. Павлов вплотную предложил Азефу вопрос чем надо объяснить бездеятельность Боевой Организации в то время, когда военно-полевой режим Столыпина так свирепствовал. Азеф ответил, что старые методы работы более не применимы и что надо искать новые приемы, ничего общего с прежними не имеющих.

Для того, как Азеф конспирировал даже тогда, когда в этом, казалось, надобности совершенно не было, характерен следующий эпизод при этой нашей прогулке. Любуясь видом Генуи с моря, Азеф заговорил о Ривьере и рассказал нам, что он едет сейчас из Ниццы. Обращаясь ко мне, он заявил: «Там сейчас находится.....», но не ска-

зал кто именно. Впоследствии я узнал, что он, повидимому, имел в виду свою двоюродную сестру Р. В. Лурье, работавшую в Боевой Организации (покончившую с собою в конце 1907 г.). Почему он не решился выдать мне эту «тайну» я не понимаю, спросить его, однако, о ком он говорит, я не решился, полагая, что у него должны быть основания для конспирирования.

В январе 1907 г. Павлов и я собрались в обратный путь, но поехали мы из Нерви в Россию не прямо. Я заехал на некоторое время в Париж, а Павлов в Гейдельберг и мы условились встретиться в Берлине и оттуда уже ехать вместе дальше.

В Париже я, у перекочевавших тем временем туда, Я. О. и Р. И. Гавронских встретился с Б. В. Савинковым, которого ни до ни после этого, я никогда не видал. Неизгладимое впечатление осталось у меня после нескольких встреч в Париже от его поразительной художественной манеры говорить и рассказывать. Посейчас помню его рассказ о побеге своем из севастопольской гауптвахты в 1906 г., впоследствии напечатанный в «Былом». Рассказ был бесподобен по своей яркости, образности и изяществу языка. На следующий день у нас зашла речь о происходивших тогда выборах во 2-ую Государственную Думу. Первые результаты давали уже основание полагать, что вторая Дума будет гораздо левее первой и я высказал предположение, что подобный результат в обстановке свирепого правительственного террора должен будет вызвать восхищение демократии всего мира перед «невежественной, дикой» Россией. Савинковъ отнесся к моим словам очень иронически и стал развивать свои принципиально антипарламентарные взгляды. По его мнению, народное представительство являлось в действительности «большой ложью» и истинно революционной, социалистической борьбой могла быть только боевая работа, как ее вела Боевая Организация. В этой беседе как то было упомянуто имя Азефа и Савинков, заговорив о нем, разразился панегириком в самом буквальном смысле этого слова. Савинков утверждал, что во всем русском революционном

движении такого выдающегося человека за исключением «может быть» Желябова не было. «До известной степени» приближался к «гигантской» фигуре Азефа лишь М. Р. Гоц, («Гершуни», оговорился он, «я не знаю»). Азеф, не умеющий произнести связно ни одной фразы, по словам его понимает в действительности всякую проблему, как бы она ни была сложна, и ориентируется лучше всех в самом запутанном положении. Он был бы на месте во главе любого дела: государственного, коммерческого, технического, безразлично. Одним словом по характеристике Савинкова Азеф был человеком необыкновенным, из ряда вон выходящим.

На следующий день Р. И. Гавронская торжествующе обратилась ко мне с вопросом: «Ну что вы скажете после вчерашнего отзыва об Азефе Савинкова?». Мне осталось лишь сослаться в свою защиту на то, что в оценке Азефа со мною были солидарны и остальные товарищи по Дармштадту и что в обыденной обстановке студенческой жизни он очевидно не имел случая проявлять себя должным образом. О революционной же его работе я в сущности ничего не знал и поэтому судить и не мог.

Восторженное преклонение перед Азефом было тогда очевидно всеобщим. Помню во время этого же моего пребывания в Париже как-то заговорили о нем у О. С. Минора, причем О. С. несколько раз повторил: «О это золотая голова! Уж он своего добьется!».

Незадолго перед моим отъездом из Парижа туда приехал и Азеф и упомянутая выше кузина моя Р. В. Лурье. Азефа я видел лишь мельком и это была последняя встреча наша. Р. В. Лурье, узнав, что я еду в Россию заявила мне, что со мной поедет подруга ее, совершенно не знающая иностранных языков, и что эта подруга особенно рада будет встретиться с В. Е. Павловым.

Вышло так, что из Парижа мы выехали втроем: Лурье, ее подруга «Лиза» и я. Так как по дороге мне пришлось задержаться на два дня мы телеграфировали Павлову в Берлин, чтобы он встретил «Лизу». Когда я приехал в Берлин Павлов был в каком то потрясенном состоя-

нии. «Лиза» оказалась упомянутой выше фельдшерницей Севастьяновой, которой он не видел со времени их ареста в 1901 г. в Томске. В течение проведенных вместе двух дней она рассказала Павлову о своих переживаниях за истекшие годы и особенно о своей работе в Б. О. «Как странна жизнь наших товарищей боевиков!», повторял П. неоднократно. А затем он объявил мне, что хоть у меня и еврейская голова, однако, я ровно ничего не понимаю в людях. Отзыв «Лизы» об Азефе был крайне восторженный, причем ее характеристика была для меня уже полной неожиданностью. По ее словам Азеф был необычайно нежный и внимательный товарищ и с особенной чуткостью он относился к женщинам членам Б. О. Долгое время он вообще отказывался допускать женщин к боевому делу, затем он согласился только на представление им вспомогательной и технической работы, но решительно противился поручению им выполнения террористических актов. Больших трудов стоило женщинам, членам Б. О., преодолеть это его сопротивление и когда активное выступление выпадало на долю женщины, он переживал страшные муки. Лиза Рассказала Павлову, что раз Азеф присутствовал при том, как одна из террористок отправилась совершить покушение на Дурново. Азеф необычайно нежно попрощался с нею и после ее ухода в течение нескольких часов рыдал как ребенок. «А вы», укоризненно заявил мне Павлов, «рисовали Азефа резким, чуть ли не грубым человеком!». Мне оставалось только согласиться, что я действительно Азефа совершенно не знал.

V

С этих пор я об Азефе ничего не слыхал до его разоблачения.

Не знаю у всех ли людей, но у меня бывают иногда моменты, когда мысль работает как то бесконтрольно и в голову лезут несуразные, явно нелепые мысли, которые гонишь прочь и никогда не решился бы повторить вслух. Неоднократно в такие моменты у меня почему то возника-

ло предположение, что Азеф провокатор. Никаких оснований для подозрений Азефа у меня не было. Как видно из всего изложенного выше я совершенно ничего почти не знал о настоящей роли его в центре П. С. Р. и Б. О. и мне лично он в полицейском отношении не повредил. Я объясняю себе теперь появление у меня таких мыслей, как результат раздражения против него в связи с отношением к нашей злосчастной «Электрической Энергии», о котором я уже упоминал.

Как бы то ни было когда я, находясь в ссылке в глухой деревне Олонецкой губернии, получил в письме одного товарища из Парижа, напечатанное на папиросной бумаге извещение Ц. К. П. С. Р. о разоблачении Азефа я был до известной степени как бы подготовлен к этому. Многие странности теперь стали понятны. И проживание его, бесправного еврея, в Москве, слежка за Виттенбергом после приезда его в Россию, обвинение его жандармами в сношениях с Левитом, ссылка их на его беседы с Азефом, моя история с Орлиным, арест Струмилло-Петрашкевича, Кличоглу и пр. и пр. объяснялись очень просто. Может быть вступлением своим в нашу фирму он также хотел только помешать осуществлению тех целей, которые мы наметили.

Меня после разоблачения естественно очень интересовало как объясняют себе ближайшие соратники Азефа по партийной работе побудительные причины его ужасного предательства. Особенно хотелось мне, вспоминая приведенный выше хвалебный отзыв Савинкова о нем, узнать, что говорил последний теперь. По возвращении из ссылки я попал на короткое время за границу и был в Берлине и Париже. В Берлине я был у Левита, с 1906 г. перешедшего впрочем к большевикам, и мы с ним восстановили разные эпизоды, связанные с Азефом, казавшиеся прежде «загадочными». В Париж я попал как раз к годовщине разоблачения Азефа.

От близкого моего родственника, проживавшего тогда в Париже, я узнал, между прочим, что после разоблачения Азефа, Савинков, как передавали осведомленные об

этом люди, отзывался о нем, как о самом обыкновенном охраннике, преследовавшем только цель наживы, получая деньги и от департамента полиции и от П. С. Р..

Мне думается, что это об'яснение Савинкова не выдерживает критики. В материальном отношении Азеф мог устроиться хорошо, не принимая на себя такой сложной функции. Я знаю, что он был на очень хорошем счету у своего начальства во Всеобщей Компании Электричества. Еще в 1907 г. один товарищ по Дармштадту, служивший в Московском отделении В. К. Э., говорил мне, что все инженеры там «живут еще традициями Азефа». Продолжая свою карьеру инженера, он вероятно в материальном отношении преуспел бы вполне. Мы знаем правду теперь, что он с первых годов студенчества по собственной инициативе поступил в охранку и может быть он не имел бы возможности прервать свою связь с ней совершенно. Но не могла же охранка заставить его играть ту рискованную роль, которую он избрал.

Был ли он, как кажется одним, чуть ли не сверхчеловеком, который умел все и всех подчинить себе (В. Г. Тан после разоблачения Азефа озаглавил свою статью о нем: «Азеф великий»), или рядовым охранником, как утверждал Савинков после 1908 г.? Мне приходят в голову слова Библии о Ное (Бытие VI 9): «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем». Над значением последних слов бьются еврейские комментаторы. Ведь они как будто совершенно лишние, праведник всегда праведник. По одному толкованию эти слова приводятся для вящего восхваления Ноя. «Если бы он жил в век праведников он был бы еще большим праведником». Другие же наоборот толкуют их в ограничительном смысле. «В его поколении он был праведником. Если же он жил бы в век Авраама его не считали бы ни во что». Мне кажется, что в отношении Азефа вернее будет вторая версия. Некоторыми «удачными делами» он сумел внушить окружавшим его безграничное доверие к себе и чем дальше это доверие становилось все более некритическим и слепым. Как можно иначе об'яснить себе, что, серьезные, взрослые люди, даже ничего

не понимающие в технике, 1907 г. могли считать реальной возможностью применение для террора воздухоплавательного аппарата и метание с него бомбы «в самую точку».

Каковы были побудительные мотивы Азефа? Исчерпывающий не вызывающий сомнения ответ на этот вопрос вряд ли возможен, а Азеф унес свою тайну с собой в могилу. Отнюдь не претендуя на компетентность, я решаюсь высказать следующее предположение. Азеф был во первых очень властолюбивым и, во вторых, повидимому крайне истерическим человеком. Я упомянул уже выше со слов Севастьяновой о его рыданиях после прощания с уходившей совершать покушение террористкой. Е. Г. Левит рассказал мне еще о таких случаях, а именно: после самоубийства шлиссельбуржца Поливанова, побег которого кстати был устроен Азефом, и во время рассказа бывшего политического каторжанина на квартире М. Р. Гоца о физической экзекуции, учиненной над рассказчиком и некоторыми его товарищами тюремной администрацией, Азеф не только рыдал при этом, но лишился даже чувств, так что пришлось пригласить к нему врача. Трудно допустить, чтобы во всех этих случаях мы имели дело лишь со «слезами актера». Для этого надо было бы быть уж слишком талантливим актером. Лица, у которых Азеф ночевал, передают, что он во сне часто издавал дикие стоны. Все это дает основание полагать, что психика Азефа была ненормальная. Возможно, что эти истерические наклонности при сложившихся для этого благоприятно условиях развили в нем страсть играть историческую роль. В сознании, что он, скромный лысковский мещанин Евно Фишелев Азеф держит в своих руках судьбу обоих борющихся лагерей и что от него в известной степени зависит ход событий в России, и пожалуй во всем мире, его больная душа находила, быть может, удовлетворение.

С проклятием будет всегда восминаться имя этого ужасного человека. Пусть не забывают, однако, что проклятия достоин и тот режим, который дал Азефу возможность сыграть свою роковую роль.

М. И. Левин.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК

БИОГРАФИЯ И ЛИТЕРАТУРА. — РОМАН МАРИЕНГОФА
ОБ ЕСЕНИНЕ. — О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЯ.

1.

В добрых старых учебниках литературы критическому разбору писателя всегда предшествовала его биография. И прежде чем погрузиться в анализ «Дворянского гнезда» или «Героя нашего времени» добросовестные ученики тщательно заучивали год рождения Тургенева и обстоятельства дуэли Лермонтова.

Само собой разумеется, что родословная Пушкина так же мало помогала школьнику понимать «Пир во время чумы», как обстоятельства женитьбы Толстого давали ему ключ для уяснения философии «Войны и мира».

Но традиция требовала изучения биографий великих художников, и создалось ходячее мнение о необходимой связи между правильным пониманием творений искусства и историей жизни их авторов.

С точки зрения эстетической и формальной критики мнение это совершенно ложно. Каждое произведение искусства дано нам, как законченное и самодовлеющее целое. Оно живет своей собственной жизнью, оно само — живое существо, подчиненное внутренним законам рождения и умирания. Ценность романа, поэмы или драмы — в тех непосредственных чувствованиях и мыслях, которые они способны вызывать, в том зачарованном мире, в ко-

тором бродит читатель или зритель, готовый поверить в реальность творческих вымыслов.

Какое нам дело, кем был Шекспир — маленьким актером из Стратфорда, лорд-канцлером или таинственным аристократом — своим независимым и полным бытием живут король Лир и леди Макбет, и бесчисленное количество раз грустит Гамлет над кладбищенской ямой и умирает бледная Офелия.

И от того, что узнаем мы трагические подробности жизни Сервантеса, иной не предстанет нам судьба Дон Кихота, и ни одной строчки в «Анне Карениной» не изменило предсмертное бегство Толстого из Ясной Поляны.

Мы можем изучать замкнутый мир художественного произведения с самых разных сторон, оценивать его основной смысл, определять, каким путем, благодаря каким приемам достигается его воздействие на читателя, в чем очарование его частей или план целого. Мы можем спорить о страстях и борьбе тех, кто составляет обитателей этого мира, или в изображении художника искать уроки жизни — но для всего этого нам не нужно знать был ли этот художник высок или мал ростом, страдал ли одышкой или пил запоем.

Для критики этого рода, поэтому, всякая попытка во что бы то ни стало проникнуть во все тайны личной жизни писателя, всякое стремление к «исчерпывающей» полноте биографии, кажутся проявлениями назойливого, подчас нездорового любопытства.

Это не значит, конечно, что исследования жизни великих художников — бесполезная вещь. Они ненужны для литературной критики, они не приносят никакой пользы для настоящего понимания искусства — но они необходимы в другой области — строго отграниченной от критического проникновения, или непосредственного наслаждения.

Психолог, занимающийся исследованием процесса творчества, конечно, должен изучать в первую очередь личность творца: для него Пушкин — объект изучения, а «Евгений Онегин» или «Полтава» — материал иллюстра-

тивного характера. Здесь происходит определенное перемещение: для литературной критики именно «Евгений Онегин» — предмет изучения, отодвигающий Пушкина на задний план. То, что называют «психологической» критикой, неправильно присваивает себе роль критики: это один из отделов психологии, одна из наиболее увлекательных и наименее разработанных глав науки о механизме и существе человеческого творчества. Это совершенно самостоятельная и от литературы отличная область.

То же относится и к исторической науке со всеми ее отделами. Можно писать историю русской интеллигенции, не только привлекая Рудина и Базарова, как живые воплощения двух поколений, но и в Тургеневе находя черты «сына века». И, наконец, для истории культуры, для истории литературы полезно проследить за историей умственной личности писателя, за теми влияниями, которые ее формировали и отразились в ее творчестве. В истории умственных течений XIX века имеется глава о влиянии Байрона на Пушкина, в истории русских литературных школ будет отмечено, что в композиции романов Достоевского есть нечто от Евгения Сю и Бальзака — но тут будет использован в первую очередь сравнительный метод изучения литератур, биографический же материал будет привлечен как подсобный.

Необходимо, чтобы биографы точно знали, для какой цели, с какой «установкой» они пишут биографию. Это избавило бы нас от биографий, в которых жизненные факты перемешаны с литературной критикой, а психологические наблюдения разбавлены историко-социологическими догадками. Совершенно ошибочно предполагать, будто всякий факт, связанный с великим писателем, становится ценным благодаря наличию этой связи: счет прачки, воспроизведенный одним из ревностных биографов Стендаля, не внес ни малейшего штриха даже в самое подробное жизнеописание автора «Красного и черного».

Я хочу выделить один литературный «жанр», который больше, чем биография. Это — портреты людей, характеристики их личности. Такого рода произведения равно да-

леки и от критики, и от научного исследования. Это особый род описательной литературы, для которого нужны не аналитические или компилятивные, но чисто творческие способности. Это воссоздание крупных личностей столь же пленительно, как и художественное произведение — но совершенно необязательно, чтоб речь шла о писателях — и «Жизнеописания» Плутарха и «Воображаемые портреты» Уольстера Патера остаются непревзойденными образцами этого жанра.

К нему непосредственно примыкает то, что может быть названо «историей существования».

За последнее время во Франции появились целые серии книг, описывающих жизни великих людей. Тут Колумб и Бальзак, Виллон и Рэмбо, Дизраели и Шелли. Одни из них достигают высоты художественных произведений, как, например, «Ариель» А. Моруа; другие не выходят за пределы удачных биографий, как «Страдальческая жизнь Бодлера» Ф. Порше, или «Декарт» Л. Димье. И опять таки — писатели чередуются с философами, изобретателями или государственными деятелями. В основу положено не абсолютное, но более или менее достоверное предположение, что существование великих людей почти всегда необыкновенно, а значит и интересно само по себе, независимо от их произведений.

Конечно, отнюдь не обязательно, чтобы у великих людей была «великая жизнь». Жизнь многих из них не представляет особенного интереса: вспомним хотя бы Гончарова или Канта.

Но есть человеческие жизни, не только озаренные гением и славой, но и насыщенные игрой событий, полные движения и борьбы. Рассказ о них волнует и захватывает не менее, чем роман или драма. А некоторые из них настолько цельное и органичное, что по ним научаешься познавать то особое чувство судьбы, которое позволяет определить основную линию жизни каждого из нас.

Конечно, это жизнеописания умерших. О живых писать нельзя. Смерть не только завершение жизни — она та последняя черта, за которой обозначается жизненный

итог. И часто неожиданна эта заключительная сумма, и только смерть открывает все, что казалось бессмысленным или непонятным в жизни. Смерть — тот последний, решительный удар кисти, от которого вдруг оживает вся картина, от которого все краски и линии дышат окончательным расцветом. Так недавно смерть Есенина сразу прояснила всю его жизнь, и от заключительного акта просветлели, получили смысл отдельные звенья всего трагического целого, еще недавно казавшиеся нелепой случайностью.

2.

Об Есенине написал свою книгу развязный А. Мариенгоф, недавний соратник футуристов и имажинистов, крупный скандалист и небольшой поэт. Самое заглавие ее заставляет насторожиться: «Роман без вранья». Но если роман, то как же без вымысла, без «вранья»? А если вранья подлинно нет, то значит это не беллетристика, а записки, воспоминания.

Оказывается, что несмотря на «вранье» — это не роман; и в то же время вымысла столько, что это и не воспоминания. Это не лишает книжки известного фельетонного своеобразия. Она написана — бойким, живым пером, с несомненным юмором и грубоватым изобразительным талантом. Это довольно забавная картина жизни литературной нашей богемы в революционные годы (1919-22); анекдоты, наскоро зарисованные типы нелепых людей, литературные сплетни и десятка два дешевых парадоксов превращают «Роман без вранья» в книгу для легкого чтения. Описано в ней все, что богеме полагается: молодость, бешеные надежды, далекие от невинности проделки, чтобы у мецената выманить деньги для издания книжки стихов, пестрота одежды и быта, вечное кочевье, недоедание и непомерные аппетиты.

Иные страницы хорошо передают чувство буйной молодости — дурашливости, вперемижку с трагической серьезностью, веселья в неподобающие минуты трудной жизни, веру в собственную гениальность и в то, что впереди

чудесное, захватывающее существование, успех, слава, счастье.

И можно было бы примириться с этим рассказом Мариенгофа о себе и своих сверстниках, если бы только в центре «Романа без вранья» не оказался «герой» — в лице Есенина.

Мариенгоф справедливо рассчитывал, что читатель с жадным любопытством накинется на описание «интимной» жизни поэта, и не поспешил на подробности. Чего только не найти в этом постепенном репортаже, разошедшемся уже в десятках тысяч экземпляров? Тут и то, как Есенин огурец ел, и как разорвал с своей первой женой, как писал стихи и как носил шляпу, как согревал постель в не-топленной комнате, или как издевался над другом, сидевшим на диете, уплетая перед ним помидоры и огурцы. Нет почти ничего о стихах поэта, о его творчестве, о его душевной драме, т. е. о самом главном, о том, что для искусства, для нас всех и есть Есенин. Но за то есть о том, что у Есенина были американские шнурованные ботинки и шелковое белье, что он был мнителен и ребячлив, или умел при нужде льстить и располагать к себе меценатов. Есть все то мелкое, ничтожное, ненужное, что принадлежит будням, что имеется у миллионов, что составляет копеечную дань человека суете и пошлости.

Удивительная вещь! Отчего это десятки «спутников» великих людей и свидетелей великих событий замечают прежде всего мелочи, чепуху, все самое низменное и пустяшное?

И почему сотни тысяч читателей с такой радостью смакуют сенсационное сообщение о том, что у гениального художника на носу прыщик или, что знаменитый поэт об'едался жаренной свиной?

Быть может, в конечном счете, это своеобразная месть посредственности: обыватель радуется, найдя свое — в жизни человека, подавляющего его своим величием. Прыщик и жаренная свинина в его глазах снижают гения до его собственного уровня.

Нет, конечно, глупее и поглупее глубокомысленно по-

вторяемой пословицы: великий человек не существует для своего лакея. Но ведь это вина лакея, а не великого человека. Лакей увидал все то, что не делает человека великим, заметил все восторженное, рядское, обыкновенное. И он проглядел все другое — все то, что превращает двуногое животное в Льва Толстого или Бетховена.

Когда читаешь книги о великих писателях, художниках, интересуешься не всей той шелухой, которая покрывала ядро их творческой личности, а именно этим ядром. Мне совсем не надобно получать точные сведения о том, спал ли Вагнер на правом или левом боку, предпочитал ли Достоевский яблоки или груши — любопытство мое касается всего того, что делало Достоевского единственным, непохожим на остальных любителей фруктов и овощей, что населяло воображение Вагнера героями Нибелунгов и св. Грааля.

Великие мыслители не говорят через каждое пятое слово философским афоризмами, и подчас не пишут сонеты и поэмы двадцать четыре часа в сутки: они говорят и делают не мало случайных или глупых, скучных или скверных вещей. Зачем же старательно подбирать именно эту труху, все эти глупости и мелочи и подносить их толпе: Гляди мол, и ел, и пил, и спал, и ошибался, как мы. Многие критики даже умиляются от вида этих слабостей и называют их «глубоко трогательными и человеческими» чертами. Как будто нужно нам это «человеческое»: его в миллионах людей предостаточно. В великом человеке мы ищем именно сверхчеловеческое, другое, то, из за чего умершего поминают не деревянным крестом, а бронзой на площадях.

И какое нам дело до всех немощей и чудачеств Есенина или до случайной прозы его повседневности: будет жить то, что возвышало его над этими буднями, что оказывалось сильнее немощей. Ревнивым, завистливым, пленительным, жестоким и двуличным мог быть Есенин в жизни и таким отчасти его рисует Мариенгоф — но нам дорог другой Есенин, тот, кто наедине с самим собой писал «Черного человека» и свою лирику надлома и увядания. Нам

нужна не биография Есенина, а его поэзия, не мелкие факты его жизни, а большое дело его творчества.

Некоторые критики воспользовались книгой Мариенгофа, чтобы со злорадством воскликнуть: вот, поглядите, каков он, этот ваш хваленый поэт!

И. Бунин возвел даже «Роман без вранья» в ранг «поучительного документа» и не преминул найти в Мариенгофовой болтовне основание для очередной литературной брани по адресу Есенина.

Говорить о том, что личная жизнь писателя ни в коей мере не является предметом литературной критики — как будто не следовало бы. Но к сожалению, именно с Есениным происходит это вредное, я сказал бы, отвратительное явление: его выходки или личные недостатки, пороки или падения служат материалом при оценке его творчества. Даже трагическая смерть поэта не запечатала уста литературных тряпичников.

Пора прекратить это безобразие. Надо решительно сказать: оставьте в покое личную жизнь Есенина. Не тревожьте праха несчастного, брэнного человека, который, как вы, искал и грешил. Не пытайтесь смертным, а значит порою непривлекательным, обличем поэта заслонить непреходящий лик его поэзии. Судите Сергея Есенина по делам его: единственное же дело поэта — слово.

Марк Слоним.

ПУТИ XX ВЕКА

1. ВВЕДЕНИЕ. ¹⁾

Публикуя эту не совсем обычную и особо ответственную работу, чувствую необходимость объяснить, в чем ее смысл, основание и значение.

Потребность в начертании «путей XX века» очевидна. В мировой войне и в русской революции человечество вступило в глубокий исторический перелом. Ясно, насколько важно и необходимо осознать его смысл и разглядеть пути, намеченные им человечеству.

Между тем на этот запрос почти нет ответа. Если заря 19 века была освещена мощными социальными учениями и идеологиями, то наша аналитическая элементаризованная эпоха, замутненная кровавым заревом того же 19 века, пока бессильна дать общий синтез переживаемого исторического поворота.

Однако, задача эта, хотя весьма трудна, но вполне законна, ибо немислимо строить общество без предвидения будущего. Это предвидение в сущности всегда, так или иначе, хотя бы бессознательно, присутствует в общественной мысли. Будет более реальным и критичным, если мы начнем выработать этот прогноз планомерно и сознательно.

До сих пор социальные прогнозы строились обычно в двух крайних плоскостях: в абстракции, или в эмпирии. Государство строит свои планы — финансовые, экономические, военные, образовательные и т. п. — эмпирически — на годы. С другой стороны, воображение, напр., Шпенглера перелетает на века вперед. Социализм, представивший собою революци-

¹⁾ Редакция «Воли Россни», не будучи согласна с некоторыми положениями и оценками автора, дает с удовольствием место интересной статье К. Р. Кочаровскаго.

онную идеологию 19 века, первоначально рисовал общий социальный идеал вне определенного времени, а затем сосредоточился на «программе-минимум», т. е. на частных конкретных реформах в пределах существующего строя.

Я в своем построении отхожу одинаково от обеих крайностей — как эмпирии, так и абстракции. Я строю **«среднее общение»**, намечаю перспективу на том среднем уровне, где уже ясен общий рисунок земли, жизни и истории человечества, но где земля и человечество еще не скрыты заоблачною далью. Я беру не годы, для которых возможно статистическое исчисление, но в которых не видно общее направление истории, и не века, о коих реальное определенное предвидение невозможно, а беру десятилетия, в которых можно отчетливо разглядеть и начертать **ближайший исторический маршрут** человечества.

Как я его понимаю? Конечно, не как «программу» в общепринятом смысле. И менее всего, как некую **«программу-минимум»**, по образцу введенных в моду политиками-марксистами. Ибо последняя есть странное создание догмы, которая берет идеал, как абсолют, противоположный тоже абсолютизованной реальности и потому не видит ступеней к идеалу и намечает не их, а тот «минимум» реформ, который с одной стороны не оскверняет догмы и считается полезным для успехов марксизма, а с другой — достижим в пределах нынешнего строя, без нарушения его. В таком плане нет никакой исторической перспективы.

Логичнее **«программы-максимума»**, которая стремится наметить **максимум достижений** по направлению к идеальному обществу. Но она — как таковая — говорит преимущественно о **желательностях**, а не о **возможностях** и **вероятностях**. Программа же общественного деятеля — реалистического идеалиста должна строиться из **совпадений желательностей** и **вероятностей**. Она должна наметить **вероятнейшее** из желательного и желательное из вероятного, и ее всего логичнее назвать **«программой-оптимой»**. Но именно, как таковая, она должна слить в себе **план желательнейшей социальной закономерности** и тем самым охватить не один, лишь момент, а **ряд ступеней социального преобразования**, должна дать некую **цельную нить** грядущего общественного развития и творчества. Такой социальный прогноз можно назвать **«программой-перспективой»**. Ее я и пробую ниже начертать для XX века.

Конечно, я хорошо понимаю, как ответственна такая попытка. Но, с одной стороны, надо же комунибудь когда-нибудь сделать подход к ответу на этот великий и неотложный запрос времени.

За последние 20 лет, вместе с завершением более кон-

кретных исследований, я поднялся к более общим историко-социологическим проблемам, накопил ряд идей и фактов об общих закономерностях истории и о смысле переживаемого момента и пришел в этой области к некоторым достаточно твердым обобщениям.

Конечно, эти построения требуют для своего изложения и обоснования целой книги. Такая книга — под названием «Автономизм» — у меня уже отчасти готова, отчасти подготавливается. Существо моего «финалистического» историко-социологического воззрения изложено в очерке «Народничество, как социологическое направление» («Заветы» 1913 г. №№ 3, 4, 5, 6). Ряд частных изложений этого воззрения отчасти тоже уже напечатаны в последние годы, как, напр., «Трудовая демократия» (в сборнике «Современные проблемы», 1922 г.), «Политическое строение России» («Воля России», 1924 г., №4-5), «Обобществление сельского хозяйства в России» (в «Записках Института Изучения России» в Праге, книга II, 1925 г.), «Социальный строй России» (в «Воле России» и отдельной книгой в 1926 г.). Ряд других очерков — глав книги — тоже или подготовлены, или подготавливаются к печати. Печатаемый сейчас схематический очерк представляет основные выводы и как бы заключительную главу всей работы.

Предлагаемые схемы намечают «исторический маршрут» XX века в двух подходах. Сначала рисуется в более конкретных и раздельных чертах и приблизительно в общепринятых терминах «программа-перспектива» XX века. Читателю она будет вероятно ясна, вероятно он признает ее, как перечисление ряда **желательностей**, но он может усумниться, насколько эти желательности являются вместе с тем возможностями, вероятностями. На это отвечает второй отдел, где я резюмирую ту историко-социологическую теорию и идеологию, которая связывает эти желательности в единое целое, в систему и которая устанавливает, что в этой «программе-перспективе» выражается не измышленная только желательность, но и вероятность и общая закономерность истории, и смысл переживаемого исторического поворота.

В изложении я избегал всякого «красноречия» и добивался лишь простоты и ясности. Предлагаемый чертеж представляет как бы итог моей работы, есть как бы мое «напутствие» XX веку, и, естественно я отношусь к нему весьма требовательно, и он далеко не представляется мне совершенным и окончательным. В последующем издании я надеюсь его улучшить и жду в этом помощи от серьезной критики,

ЧАСТЬ 1. ПРОГРАММА-ПЕРСПЕКТИВА.

2. ДУХ НОВОЙ ЭПОХИ.

В мировой войне и в русской революции обозначился великий исторический перелом: разбились гибельные тупики и открылись торные пути прогресса.

Пять веков тому назад кору догматической средневековой культуры пробил мощное течение «критицизма». Это умонастроение привело к драгоценным познаниям и пониманиям и к мощному «активизму», оно создало науку и технику, ранее небывалую, оно стало покорять природу и овладевать всюю жизнью, и породило ту величайшую «критико-активную» культуру в которой мы имеем счастье жить.

Но критицизм, вдохновленный чистой «Религией Разума», разрушая в порывах и кризисах догму и автократию, свершая чудесные завоевания в материальной культуре, еще однако, **не познал и не воспитал самого человека**. Поэтому постепенно, особенно к концу 19 века, он пришел к некоторому вырождению: к «сверх-критицизму» — т. е., к крайнему анализирующему, к раздробленной специализации, к утере обобщающих связей, и к «сверх-активизму», — к технизму, к увлечению средствами за счет целей, к разрушительному обострению социальной борьбы. В войне и в большевизме породивший их выродившийся критицизм уткнулся в тупики и разбился в них.

Выведет из этих тупиков и поведет по торным путям прогресса новая высшая форма критицизма. В нем с психологической неизбежностью, под давлением грозного опыта, неумолимых задач и развертывающегося знания и самопознания, будет слагаться **высшая целесознательность**. В нем анализ будет завершаться синтезом, он будет связывать и согласовывать специализации, подчинять средства целям, технику — культуре. **Познав и воспитав «самого себя»**, самого человека, он поведет человечество из царства борьбы в царство творчества и сочетает с «Религией Разума» «Религию Добра».

3. ГРЯДУЩИЙ ПУТЬ ПРОГРЕССА

Этот новый «креатизм» частично и полусознательно уже развертывается. Существо его можно определить, как **гуманистическую реформуацию**.

Наступающий гуманизм выходит из узких плоскостей, как

либерализма, принимающего за абсолют личность и расплывающегося в бесплодном атомистическом индивидуализме, так и догматического социализма, принимающего за абсолют общество и втискивающего личность, как винт, в общественный механизм. Отбрасывая противопоставление личности обществу, новый гуманизм примет, как единственную реальность, **личность въ обществе, или общественную личность** и поставит своею целью **общественное самоопределение личности**.

Общение личностей разными их сторонами и составляет социально-бытовую, экономическую, политическую и культурную жизнь общества. Гуманистическая реформация и будет состоять в гармоническом самоопределении личности — всех личностей — чрез самоопределение всевозможных общественных формаций — и государства, и хозяйства, и нации, и культуры.

Все быстрее развивающееся осознание и согласование всех целестремлений постепенно поднимет человечество над медленной и случайной автоматической эволюцией, выведет его из скачков, кризисов и катастроф революций и введет именно в последовательную и плавную «реформацию». Программа ее должна быть универсальной и интегральной, а организация должна построиться по образу высшего духовного братства (не исключая, но включая в себя программы и организации политические и иные).

4. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА.

Создания критико-активизма в природе чудесны и неисчислимы, в обществе же он может гордиться пока только одним — **демократией**. Но оно необыкновенно велико и глубоко, ибо в демократии утвердился и материализовался самый дух критико-активизма и его власть над обществом, в ней открылись все возможности, все пути общественного творчества, в ней сложилась незыблемая база всей грядущей гуманистической реформации.

С 20 века и особенно с мировой войны демократии, т. е. точнее сказать, **политическому самоопределению, самоопределению человечества через государство**, — открываются великие пути. Предстоит с одной стороны огромное — количественное — развертывание ее в ширь, а с другой — чрезвычайное — качественное — развитие в глубь.

За 19 век построилась, чрез ряд революций и реформ, «европоамериканская» демократическая культура. С началом 20 века первая русская революция пробуждает к свободному политическому самоопределению не только Россию, но и Азию,

Турцию, Китай, Индию. Мировая война искореняет остатки автократии в Европе, освежает в ней — молодыми славянскими государствами — силы демократии и ставит окончательно на очередь утверждение народовластия в России, а затем во всей Азии.

В связи с этим разливом в ширь ныне наблюдается как бы обмеление европейской демократии. Усилия и потрясения борьбы вызывают острый кризис роста в совсем еще молодых и крайне несовершенных организмах демократии. Но именно этот кризис ведет к обновлению и к углублению ее форм.

Тупики современной демократии, обусловившие ее кризис, состоят в ее **централизме, механичности, косвенности, формализме.**

Вся государственная жизнь ныне сосредоточена в центре, вся власть в министерстве, все внимание народа — на азартной спортивной игре министерств-диктатур. Предстоит перенесение большей доли дел в местные самоуправления, уничтожение министерских диктатур, деловое разделение труда, — законосовещания, законодательства и законисполнения, — между разными палатами.

Вся государственная деятельность движется ныне снизу — чрез безличное, механическое голосование распыленных масс, сверху — через окостенелую сеть бюрократии. Демократия оживет по настоящему только тогда, когда в состав ее органов войдут живые, гибкие, органические единицы — кооперации, синдикаты, корпорации — трудовые, национальные, культурные и т. д.

Ныне народ еще не законодательствует прямо, лишь выбирает законодателей, и политика стала монополией парламентов и партий. Предстоит деловое оздоровление партий, оздоравливающее освобождение народа от парламентаризма и политиканства и постепенное превращение законодательной инициативы и референдума, пока еще зачаточных, в органическое и деловое установление населением основных директив законов, в «прямое» политическое творчество, в «прямую демократию».

До сих пор закон, право и суд остаются сухими, доктринерскими и формальными, отдаленными от жизни народных масс. Подлинная демократия, полное политическое самоопределение построится только тогда, когда «устав» сблизится с «бытом» и будет вырастать из него, когда с одной стороны закон будет завершать творчество быта, а с другой — государство будет разгружено от всего того, что может твориться без принудительно простым соглашением лиц и групп — экономических, национальных, культурных и т. д.

Таким созреванием демократии наполнится весь XX век.

5. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОЯ.

Экономическое самоопределение личностей осуществится в постепенном, но быстром построении **экономической демократии**. Оно не может состоять во внезапном захвате хозяйства государством: простая замена капиталистов чиновниками не улучшит хозяйства и не раскрепостит личности.

В непосредственное ведение государства, — притом — в особых оздоровленных публичностью и самоуправлением работников формах и в комбинации с муниципиями и кооперативами, — должны отойти естественные богатства для их охраны и развития продуктивности и важнейшие общественные службы (благоустройство, пути сообщения и т. д.).

Для остальной хозяйственной жизни предстоит режим **«премио-гарантизма»**. Вместо нынешней случайной «свободной конкуренции», постоянно вырождающейся в капиталистическую монополию, установится **уравнительное организованное соперничество** в пользовании землей, средствами производства и кредитом, в котором **труду и таланту** будет обеспечено прочное приложение и справедливое и поощряющее производительность вознаграждение.

Царство труда и таланта сменит в хозяйстве самодержавие капитала в двоякой форме. С одной стороны капиталистические предприятия из абсолютных хозяйственных монархий превратятся в «конституционно-демократические», где владельцы поделятся властью и доходами со служащими и рабочими. С другой стороны — в виде кооперативов — образуются прямые хозяйственные республики — полные демократии труда и таланта.

Эта экономическая реформация достигнется не прежними способами: не путем разрушительной классовой борьбы всех против всех, как и не косным примиренчеством классов труда с паразитарными элементами капитала. Для нее сложится новая форма активного социально-экономического прогресса: **сотрудничество и положительное строительство творческих классов — классов труда и таланта: тройственного союза крестьянства, пролетариата и трудовой интеллигенции.**

6. РЕФОРМАЦИЯ КУЛЬТУРЫ.

Область культурных и социально-бытовых переживаний очень широка и в ней заключены самые органические, интимные и духовные самоопределения личности.

Это — вопросы о населении и его росте, о социальных болезнях (как пьянство, проституция и т. п.); о положении и

взаимоотношении разных категорий людей — мужчин и женщин, взрослых, стариков и детей, работоспособных и неработоспособных. Это — проблемы собственно культуры — воспитания и образования, самовоспитания и самообразования, всевозможных наук, искусств и культов — духовных (религии), телесных («спорт»), «интегральных» («сокольево», «скаутизм»). Это — проблемы чистоплотности, здоровья, развития, самодеятельности и жизнелюбности тела и духа, проблемы любви, брака, семьи, дружбы, разных видов общений и общественной деятельности.

До сих пор в этих великих проблемах слишком много ждали от государства, а самодеятельность и самоопределение личности принимали слишком узкие, специализированные формы. Но ныне личность устремляется к все более энергичной и широкой самодеятельности и автономии в культурно-бытовой жизни, она ждет цельной программы и вдохновенной формулы.

Их и несет новый гуманизм. Он выставляет идеал **разносторонней, автономной и гармоничной личности**. Он выдвигает социально-культурные проблемы, до сих пор слишком заслоненные политикой, на самый первый план, ибо государство и хозяйство останутся пустым храмом без божества или с торгашеством вместо богослужения, пока в них не воцарится жизнь культуры и культа. Он, — как деятели кооперации или национальной культуры, — провозглашает лозунг «мы сами!» и строит свое действие на самодеятельности и саморазвитии свободных групп личностей, слагающихся в организации нового типа, как «дружества», «соседства», «братства» для разных целей и общений.

Гуманистическая реформация в основном своем русле есть прямое творение личностями, — их все более осознанными и согласованными целестремлениями, их **оптимистической волей**, — все высшей и высшей культуры.

7. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАРОДНОСТЕЙ

Рядом с проблемами государства, хозяйства и культуры в 19 веке выдвинулась на самый первый план тесно сросшаяся с ними проблема **нации**.

Нация, начиная с языка, заключает в себе ряд первостепенных культурных ценностей. Она составляет одну из неизбежных и важнейших ступеней от человека к человечеству. Подобно классу, подобно всякой общественной группе, она составляет силу творческую и прогрессивную, когда направлена к объединению, освобождению и самоопределению, и обращается в силу реакционную и разрушительную, когда, овладе-

вая государством, превращается в насильственный и хищнический «империализм» и подавляет другие нации.

Побороть реакционный империалистический национализм может только **национализм освободительный, демократический**. Мировая война, начатая германским империалистическим национализмом, закончилась под прямо провозглашенным лозунгом «самоопределения народностей», — победой **демократии и национального автономизма**.

Задача гуманистической реформации ныне двоякая. С одной стороны предстоит распространить режим национального автономизма, национальной демократии на весь мир, прежде всего на всю Азию. С другой стороны господствующий в истории процесс укрупнения органических объединений, приведший от пред-национальных родов и племен к нациям, ведет и к дальнейшим **после-национальным, сверх-национальным общениям**.

Таким образом, если в 19 веке слагались и давали тон национальные государства — Англия, Франция, Германия, Италия и т. д., — то в веке 20 выступят на первый план над-национальные общения. Это будут сложно-национальные государства, — как Северная Америка, Россия, Китай, Индия, Южная Америка. Это будут и национальные союзы, как, например, славянский и, может быть, латинский.

В связи с этим процессом сможет стать реальной силой мировой союз народов, и гуманизм, получив широчайшее попрание действия, поведет к «миру всего мира».

8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ МИР.

После мировой войны создалось новое международное положение. Совершилась значительная перегруппировка держав, и с одной стороны чудовищно возросли технические средства войны, а с другой стороны решительно ослабели ее причины и ее цели и усилились средства мира.

Еще ныне над судьбою Европы висит угроза безумной злой воли, которая — воздушной отравной войной, — способна в несколько месяцев скосить весь сосредоточенный в центрах цвет культуры, способна действительно вызвать «Закат Европы» (вообще говоря, пока мало вероятный).

Но реальные причины и цели войн сведены победой национальных демократий к минимуму. Восьмидесятиmillionный австро-балканский очаг кипящей национальной борьбы раздробленных и подавленных народностей, именно и вызвавший мировую войну, погашен и разнят на новые национальные государства. Вообще, коренной национальный передел Европы, — за

исключением Германии, — в основном закончен, национальные государства устойчиво уперты друг в друга. Оставшиеся, или вновь возникшие нарушения национального самоопределения могут быть доделаны сравнительно легко. Империалистическая война из за колоний или сфер влияния, — напр., в Китае, — никому ничего серьезного не обещает и вряд ли кого либо может соблазнить. Главные корни войн мировой войною вырваны, крупных и острых мотивов к войне не осталось.

Вместе с тем возникло препятствие к войне чрезвычайной силы: — это именно ужасы будущей войны, которые не окупятся никакими победами, которые станут самоубийством и для победителя, ужасы, которые, поражая всего гибельнее густые индустриальные централизованные культуры, всего опаснее именно для империалистического зачинщика войны и наименее рискованны для мирных разреженных руральных стран.

Наконец, после мировой войны совершилась такая перегруппировка держав, которая чрезвычайно увеличила силы демократии в мире и тем самым силы мира. В центре Европы протянулась цепь государств, так сказать, «средних»: сильных, но не способных к империализму, демократических и кровно заинтересованных в мире. Пятидесятиmillionная группа новых славянских государств, когда объединится между собой и с Россией, представит, вместе с ней и с опорой на мирную руральную Азию, несокрушимый оплот международной демократии и мира против воинственного психоза кого либо в Европе. Сами народы Европы так пострадали, так устали от войны, что сделают все возможное, чтобы ее избежать.

При таких условиях сможет в недалеком будущем перейти от потенции к жизни и действию мирная международная демократия.

9. КУЛЬТУРА ГОРОДСКАЯ И КУЛЬТУРА СЕЛЬСКАЯ.

Смена «критической эпохи» «креатической» ведет к изменению самого типа культуры.

В разгаре ультра-активизма, в бешеном развитии техники, слагалась индустриально-капиталистическая **централизованная, урбанизованная** культура, в которой города переразвивались на счет недоразвития провинции и села, откуда высасывались лучшие силы населения и где отлагалась — ослабленная и вялая — как бы культура второго сорта. С 20-го века эта урбанизованная культура переламаывается.

С одной стороны, такой тип и такая степень машинизма сами приходят чрез переразвитие к вырождению: человеческому организму становится не в моготу в мире механизмов, где на

место «власти земли» становится «власть машины», и сами города начинают мечтать о «лоне природы», о «городах-садах».

С другой стороны само развитие науки и техники приводит к благотворному повороту. Замена паругольных машин электромоторными и взрывомоторными допускает широкую децентрализацию и на место господствовавшей в 19 веке капиталистическо-урбанистической тяжелой «паровой» индустрии и культуры выступает — вместе с автомобилями, аэропланами, кинематографами, и радиостанциями — кооперативно-трудовой, легкий, «электрический», руральный уклад. Наконец, и самое сельское население не мирится больше со своей обделенностью и подчиненностью и все энергичнее тянется к культуре, притягивает ее к себе и начинает ее перерабатывать по образу и подобию своей более здоровой, гармонической и автономной личности.

Гуманизм, который ищет «здоровый дух в здоровом теле», который стремится к «прямому действию», к «прямому творчеству» личности, к победе человека над вещью, найдет в руральной культуре самое подлинное свое царство.

10. КУЛЬТУРА ЕВРОПЕЙСКАЯ И КУЛЬТУРА ВСЕМИРНАЯ.

Великий поворот путей культуры совпадает с ее перемещением. Глубокое качественное перерождение связано с необычайным количественным расширением.

В предыдущие тысячелетия передовая под'емная волна культуры странствовала из одних стран, от одних народов к другим, оставляя остальные внизу, в застое, в упадке. Последняя же «эпоха критико-активизма» взнеслась на такие вершины, одержала такие победы над природой, над пространством и временем, что уж не может остановиться, заостенеть, замкнуться на какой то части земли, а неизбежно охватывает весь мир.

Страны старой культуры — в 20-м же веке — будут ею валиты. Для них вопрос мог быть только в том, быть ли ею поработанными или наоборот пробужденными к возрождению, к автономизму, к креатизму. С 20 века и особенно с победы демократии в мировой войне уже и свершился переход в это второе — гуманическое — русло.

Если в 19 веке европейская критико-активная культура — в самом процессе своего чудесного вознесения — захватила два континента — Америку и Австралию — то в 20-м веке она разольется на остальные два континента — на Азию и Африку. Но в то время, как в Америке и в Австралии еще лишь полу-демократическая и полу-гуманистическая культура 19 века нашла

слабые количественно и качественно народы и просто перенеслась туда, полу-истребив, полу-поглотив их, — в Азии повысившуюся, идущую к креатизму и гуманизму европо-американскую культуру встречает миллиардное человечество высоких дарований и старая глубокая культура — колыбель человеческого прогресса.

Исход этой встречи двух течений мировой культуры может быть один: сложное их взаимодействие, глубокое творческое их сотрудничество. Азия переймет в несколько десятилетий науку и технику «европоамериканской» культуры, утвердит свой национально-политический автономизм и оплодотворит свою глубокую «культуру человека» «культурой вещей». Европоамериканской культуре представится задача поднять до уровня ее великой культуры вещей и культуру человека.

В этих вселенских разливах и слияниях культурного творчества окрепнет всемирный автономизм. Бурный «кризисный» «критико-активизм» переростет в планомерный и плавный «креатизм». Наступит эпоха всечеловеческой гуманистической реформации.

11. ПУТИ РОССИИ.

Россия является мощным руслом гуманистической реформации.

Она исторически подготовлена для политического автономизма. Элементы аристократии, как феодальной, так и буржуазной, были в России сравнительно слабы и мало повлияли на быт и дух народа. Россия в существе своем фактически демократична. Крестьянство, составляющее огромное большинство населения, есть класс деловой и положительный, самоопределяющийся, как «сам себе слуга и хозяин». Он воспитан веками в вечевом самоуправлении, которое было задавлено в городах, но пережило и в пореформенный период мощно развилось в русской деревне. В нем — несокрушимая бытовая основа грядущей углубленной российской демократии. Крестьянство, интеллигенция и пролетариат — главные социальные силы России, и все они — силы передовой, активной демократии.

Россия обладает и всеми данными для автономизма экономического. Огромная территория и огромные естественные богатства обеспечивают ей, подобно Америке, широчайший хозяйственный расцвет и делают ее «самодостаточным», «самодовлеющим» государством. Это открывает возможности полного осуществления режима «премио-гарантизма», который дает каждому право на жизнь, на труд и на творчество. В стомиллионном крестьянстве, в развитых им в пореформенный период организациях, общины и кооперации, основы этого режима уже

заложены, уже выращиваются органически и автономно самим бытом народа.

Россия быстро идет к глубокому культурному самоопределению, она уже сейчас обладает мощной самобытной культурой. Культурно-бытовые ценности, начиная с языка, песни и т. д., накопленные народностями России, обильны, высоки и своеобразны. Русская наука, особенно же русское искусство, именно в момент, когда Россия разгромлена и заслонена большевизмом, завоевывает всемирное признание. И дух русской культуры, как дух народа, его языка, его литературы, его интеллигенции, его общественной мысли и общественной борьбы, ищущий человека в свете «Правды» и «Воли» и так ярко вспыхнувший в Февральской Революции, именно полон глубокого и подлинного гуманизма,

Россия являет в себе, подобно Америке, счастливое осуществление национального автономизма. Полторастамиллионная семья народностей, на 4/5 объединенная по крови и по речи, сжилась в быте и в духе, сращена интересами экономическими и политическими, глубоко сроднилась в атмосфере гуманистической культуры. В результате она слилась в единое целое и (за вычетом Польши и Финляндии), не являла даже в апогее царской деспотии сепаратистских течений. Она выросла как тесная органическая федерация, как органическое сочетание национального государства со сложно-национальным или сверхнациональным, она составляет гармонически сложившуюся ступень от национального к над-национальному объединению.

Россия своей природой и своим социальным складом поставлена в первый ряд новой «руральной» культуры человечества. Она может стать первой в мире по мощи сельского хозяйства. При слабости феодально-буржуазных слоев и влияний, четыре пятых населения России составляет крестьянство, и эта трудовая деревня, это сельское трудовое царство ныне осознало свою силу, осознало себя хозяином страны и завтра оно сотворит новую демократию. Воспитанное изменчивой природой и историей России, быстрым движением и передвижением населения, быстрой эволюцией хозяйства и культуры, глубоко возбужденное бурными пореформенными переменами и революциями, русское село являет тип не «стабильного» консервативного или даже застойного крестьянства (как в Китае, или даже отчасти и в Европе), а «мутабильного», подвижного, прогрессивного, даже иногда революционного. Оно как раз воплощает дух наступающей эпохи активного прогресса: положительного, но энергичного креатизма, быстрой, но плавной реформации.

Россия географически и исторически поставлена в центр начавшагося великого культурного поворота от западно-европей-

ской к универсальной культуре. Географы определяют Россию, как «Евразию», как тот великий «срединный» материк, по краям которого, вдоль морей, сгустились культуры Азии и Европы, и который связывает их в пространстве. Историки констатируют, что взрастающая российская культура выростила эту связь и во времени, впитав в себя не только влияния Запада, но отчасти и Востока, и тем самым уже сама является началом разлива Запада на Восток и слияния Запада с Востоком. И наконец — с полной закономерностью — русская общественная мысль уже прямо прониклась началами всечеловеческими, идеями международного гуманизма и «мира всему миру» и прямо провозгласила свою «вселенскую миссию». Когда Россия овладеет собой и выйдет на международную арену, когда она войдет в тесное общение, с одной стороны со славянством, с другой стороны — с Азией, она вступит на этот великий путь не только словом, но и делом.

Россия, глубоко и страстно устремленная к «Правде» и «Воле», выступит великою силою критицизма и активизма в их положительном синтезе — в «креатизме». Оставшись в стороне от пятивековой бурной эпохи критико-активизма на Западе, вступив в нее в ее критический и отчасти упадочный момент, переболев уже — в большевизме — ядами этого кризиса, Россия в 20 веке сразу должна пройти пути Возрождения — Гуманизма — Реформации — Революции, как единой Великой Гуманистической Реформации.

ЧАСТЬ П. ТЕОРИЯ ИДЕОЛОГИИ.

12. КРИТИКО-АКТИВНАЯ ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВА

Критико-активное обществоведение прочно построится тогда, когда будет строиться не из произвольных соображений, а из **первичных социальных реальностей**.

В чем эти реальности? Как определить социальное явление?

Социальными явлениями, конечно, нельзя признать явления природы, в которой живет человечество: это — лишь **внешние условия** социальных явлений. Процессы в человеческих организмах, очевидно, также суть частью **внутренние условия**, частью **следствия** социальных явлений, но не самые социальные явления. **Потребности и способности людей** тоже еще не составляют **непосредственно** социальных явлений, они только рождают те **цели**, те **целестремления** людей, взаимодействие которых и составляет **между-человеческие отношения**, и затем перерабаты-

вает и самые человеческие потребности и способности. Наконец, и вещи, сотворенные людьми, — пища, ткани, дома, дороги, машины, предметы искусства и т. д., — также составляют с одной стороны **продукт** социальных явлений, а с другой — **вторичную искусственную их среду**, а не самые эти явления.

Социальные явления суть самые те целестремления, в которые выливаются потребности и способности людей и в которых складываются их взаимоотношения. Множество разнообразнейших **целей** двигают громаду всевозможного человеческого **труда**, напрягают огромную энергию **борьбы** во всяческих направлениях и формах, возбуждают многообразнейшую **«игру»** (употребляя это слово в широчайшем смысле, — как поток непосредственных удовлетворений и наслаждений всякого рода).

Вне целей мы просто не можем понять и воспринять действий и переживаний людей, общественных групп и учреждений. Даже когда, — как в эффектах, подражаниях и т. п., — цели минимальны, все-таки мы определяем эти явления, или по этим зачаткам целей, или как «бесцельные», т. е. все-таки хотя негативно, но по критерию цели. Определение человека как «общественного животного» указывает лишь **факт** общества, но не указывает **существа** общества. Определив его, как «целестремительное животное», мы определим самое существо человеческого общества, человеческих общений и общественных связей.

Итак, подходя строго **критически**, ища наиболее общую, первичную и бесспорную **социальную реальность**, мы находим ее в **целестремлении**. Социальное явление представляет собою узел целестремлений. Цель есть такая же первичная единица в социологии, как клетка в биологии. Социальные процессы суть взаимодействия целестремлений отдельных людей, общественных групп и общественных учреждений. Общество есть мир целей (Кант). Исторический процесс есть безмерный поток целестремлений.

Миновать эту первичную целевую реальность общества совершенно невозможно, и потому любая обществоведческая работа любого автора так или иначе занимается целестремлениями. Но так как обществоведение еще только вступает в научный фазис и до сих пор в нем преобладала либо узкая конкретность и эмпирия, либо абстракция и метафизика, то — в первом случае целевые явления вовсе определенно не осознавались, а во втором — на место реальных целевых явлений ставились какие либо целевые «сущности» и «абсолюты», из коих строилась та или иная суб'ективная не реальная «телеоголия» (будь то телеология «духа» Гегеля или телеология «материи» Маркса и т. д.).

Подготавливающееся ныне—особенно в статистических мето-

дах — критическое, реальное, научное обществоведение решительно выйдет из уткнувшейся в землю, во внешнюю кору фактов, эмпирии, которая в хаосе случаев не видит целевых закономерностей, и столь же решительно отойдет от расплывающейся в облаках телеологии с ее «железными», «фатальными» законами, «миссиями» и т. д. Следуя за Иерингом, оно примет, что целестремления являются и следствиями условий среды, и причинами социальных явлений, форм и трансформаций, оно включает мир социальный, мир целестремлений в общую цепь причинности.

Целезависимости только особого рода причинозависимости. Овладевая точно отображенными массами социально-целевых фактов и целезависимостей, мы постепенно находим их соотношения, их тенденции, их вероятнейшие пути движения и развития. «Критико-активное» обществоведение, которое я, — в отличие от метафизической телеологии, — называю **финалистическим**, ищет и находит — чрез ряд ступней — общие правильности, общие **вероятностные закономерности** в величественном историческом потоке человеческих целестремлений.

13. КРИТИКО-АКТИВНАЯ ТЕОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.

Сила критико-активизма, давшего великия завоевания естествознания и техники, состоит не только в **критицизме**, — в точном отображении и систематическом изучении реальных явлений, — но и в **активизме**: в том, что это изучение открыло ему не только самые вещи, но и **движущие их силы**, привело к познанию не только состояний, не только статики явлений, но и их **движений**, их **динамики**, их **трансформации** и **эволюции**. Тот же «активизм», тот же «энергетизм», «динамизм», «трансформизм», — должен владеть и критическим научным обществоведением. Оно должно найти то **движение**, ту **движущую силу** и ту **трансформацию**, которыми характеризуется и объясняется процесс истории человечества.

Финалистическое обществоведение именно и делает это. Оно сразу указывает не только существо и центр общественного явления, но и его **движение**, его **движущую силу**. **Целестремления** не только составляют **существо** социальных явлений — и отношений между людьми, и отношений между людьми и природой, — но составляют и самое то **социальное движение**, самую ту **социальную энергию**, коотрая является особенностью общества, которая отличает его от остальных явлений мира биологического.

Раз мы реалистически вдвинули человеческий социальный мир целестремлений в общую цепь причинности, то тем самым

не только его признали следствием, окружающих его физических и биологических условий, но признали его и **причиной других явлений**, т. е. особою **силою**, которая также сама **преобразует** вещи, те явления, на которые направлена. И мы знаем, как огромна эта целестремительная сила человеческого общества: она не только определяет жизнь и смерть отдельных людей и людских групп, но она преобразует природу, она изменяет лицо земли.

Будучи столь мощным количественно, целестремление глубоко своеобразно качественно. **Целестремления суть особого рода преобразующие творческие, креативные ячейки**. В них в психике человека комбинируются впечатления среды с потребностями и способностями людей и, они устремляют волю людей, их психические и физические силы в определенных направлениях. Подобно энергиям физическим, химическим, биологическим, в целестремлении возникает **новая особая энергия**. В целестремлении, как в клетке живого организма, совершается особое движение, развивается особая жизнь, особая сила. Как в семени заключена **жизнестремлящая энергия**, рождающая из него огромное дерево, так в цели заключена **целестремлящая энергия**, вырастающая в движение, в действия, в организации тысяч и миллионов людей и глубоко преобразующая и их самих, и их среду. Мириады целевых начинаний подобны мириадам зачатий, и из них рождаются — в медленных и тяжких муках — все новые и новые социальные миры.

Таким образом, движущие силы общества суть **цели — силы** (не «идеи — силы», как слишком рационалистично определил Фулье). Исторический процесс есть поток целестремлений, т. е. целевых движений и изменений, преобразований, есть великая **социальная целевая трансформация**.

Но так как известная доля целестремлений увенчивается целестремительными, так как целестремительная психическая энергия человека завоевывает открытия и изобретения, так как людские **желательности суть уже тем самым вероятности**, — то исторический процесс оказывается насыщен моментами творчества, оказывается процессом **социального целевого творчества** человечества.

И так как эти творческие преобразования все накапливаются, так как достигаемая целесообразности все распространяются в ширь и все растут в высь, так как сама целестремительная энергия вместе с целестремительными все дальше развивается, все повышается и количественно, и качественно, то история представляет собою не только изменение-трансформацию, но **развитие-эволюцию**, представляет собою то, что принято называть **прогрессом**.

14. КРИТИКО-АКТИВНАЯ ТЕОРИЯ ПРОГРЕССА

Тот, кто разглядел, что целестремление есть средоточие социальной жизни и вместе с тем движущая, творческая сила общества, тот осмыслил и исторический процесс, как прогресс. Раз исторический процесс есть поток целестремлений, то тем самым он есть и процесс целестремлений. Раз история движется целями, то она движется в определенном направлении — в направлении этих целей. Раз исторический процесс есть процесс появления, накопления и отложения во всевозможных социальных формах мириад целей, целестремлений, целестремлений, целестремлений и целестремлений, то он — в общем — есть движение к желательному и высшему для людей, т. е. прогресс.

Всякий, кто не закрывает себе какую либо догмой глаз на финалистическую реальность человеческого общества, тот видит эту очевидность в необозримых и разительных проявлениях, — в грандиозном развитии и самых целей, и целестремительности, и целестремительности, и целестремительности.

Самые цели людей проходят огромный путь развития, и количественного, и качественного. Цели, в которые претворяются основные потребности людей, — как, напр., в пище, одежде, жилище, — у дикаря просты, грубы, малочисленны, в высших же фазах культуры они разветвляются во множество все более сложных и утонченных разновидностей. Другие, более высокие, вторичные цели проходят не меньший путь развития: заботы о здоровье, об украшении тела чрезвычайно усложняются и утончаются, появляется первоначально почти отсутствующая забота о чистоте тела. Половая любовь бесконечно усложняется, индивидуализируется, одухотворяется. Рядом с целями низшими, плотскими, развивается целый мир целей высших, духовных, — эстетических, этических, научных, социальных, религиозных, — раскрывается целый новый мир высших спиритуальных целестремлений. Наконец, если первоначально цели дикаря случайны и кратки, то в высших культурах они длительны и могучи. И эти высшие цели, обращаясь в «идеалы», отрываются от отдельных людей, проходят чрез ряды поколений, живут веками и тысячелетиями, решают судьбы миллионов людей, освещают общие пути человечества и прогресса.

Развитие целей связано с развитием целестремительности — самой силы и самого типа целевой энергии. У примитивного человека целестремительность моментами, — в захвате добычи на охоте, в борьбе с противником, в половой страсти и т. п., — бывает чрезвычайно сильна, но затем, вспыхнув, потухает и сменяется бездействием, ленью, растительною жизнью. Но исторический процесс все более повышает самое качество целестре-

мительности: она делается равномерной и постоянной, целевая энергия движется все более ровным, размеренным, ритмическим потоком. Первоначальная, преимущественно «**борьбовая**» целестремительность все более сменяется **трудовой**. Человек все полнее и все в высшем смысле становится «целестремительным животным» и все более углубляется в стихию труда.

Развитие целей, целестремительности и целесообразности неразрывно слито с развитием **целесознательности**. Вместо разрозненно мелькающих и слабо осознанных отдельных конкретных целеустремлений, цели людьми постепенно все яснее сознаются, слагаются очереди и соотношения целей, слагаются известные целевые планы, известные целевые перспективы. Человек все сознательнее выбирает из множества целей, он увлекается, влюбляется в некоторые цели, все чаще создает себе сознательную «цель жизни». Иногда он отдает этому «идеалу» самую свою жизнь. Вместе с индивидуальными целесознаниями слагаются целесознания коллективные; социальные: родов, племен и наций, каст, сословий и классов, городов и государств, религий и иных идеологий. Эти социальные целесознания все более расширяются и углубляются и охватывают все более широкие массы людей. И так постепенно люди идут к универсальному целесознанию, в котором ступень за ступенью складываются, примиряются, согласуются все цели всего человечества.

Вместе с развитием целей и целестремительности совершается количественное накопление и качественное развитие **целесообразности**, т. е. сообразование целей со средствами, нахождение средств для всевозможных целей. Это то, что мы называем «открытиями» и «изобретениями», и в этом всего прямее выражается целевое творчество человечества. Это развитие целесообразности дало наибольшие результаты во внешнем мире, в материальной культуре. Путь от пещеры дикаря до современных дворцов, от носилок, пироги, или передвижения верхом до железных дорог, автомобилей, аэропланов, от жизни в подчинении и в страхе пред природой до нынешних чудес техники — этот путь есть путь победоносного завоевания природы. Развитие целесообразностей в междучеловеческих отношениях также прошло очень большой путь от родового уклада до современной демократии, от рабства и людоедства до начинающихся достижений социального гуманизма. И хотя социальные целесообразности уступают пока техническим, но раз человек познал природу, он сможет познать и общество и открыть, изобрести и построить такие же целесообразные социальные здания, как дворцы и храмы техники.

Когда мы взглянем в эти пройденные пути прогресса, в эту мощь целевого роста и творчества, то ясно увидим, какие ве-

ликие пути открыты ему в грядущем. Увидим, что в начертанных выше путях XX века выражена не только желательность, но предугазанная всем прошлым вероятность.

Но для того, чтобы дорисовать эту перспективу и вообще эту идеологию **реалистического финализма** с полной отчетливостью, необходимо расчленить ход целевого развития на основные его типы и вместе с тем **фазы**. Тогда история человечества распадается на три эры. Первая — самая долгая — может быть определена, как эра **автоматизма**. Вторая — значительно ускоренная — может быть охарактеризована, как эра **авторитаризма**. И третью, зарождающуюся в последние тысячелетия и развертывающуюся в последние века, я определяю, как эру **автономизма**.

Автоматизмом я характеризую период, так сказать, **«мало-целия»**, авторитаризмом — преобладание **«чуже-целия»**, автономизмом — рождающееся царство **«свое-целия»**.

(Окончание следует).

ВОЗМОЖЕН ЛИ БОНАПАРТИЗМ В РОССИИ

Быть может будущий историк с недоумением остановится перед тем странным фактом, что вопрос о возможности бонапартизма в России возник уже в самом начале революции, в ее бескровный февральский период.

Революция еще только начиналась, события еще только развертывались, направление их еще трудно было предвидеть, нельзя было предугадать еще как сложится в ней соотношение сил, а уже некоторым общественным кругам стала мерещиться на горизонте фигура русского Бонапарта.

Справа, сразу после первых же громовых раскатов революционной грозы, стали надеяться, что вот явится этот «герой порядка» на белом коне и «укротит хаос» т. е. спасет уничтожаемые привилегии господствовавших при старом режиме классов, лишившихся защиты штыков самодержавия.

Слева, неизвестно по какой причине, тоже верили в такую возможность и в ней видели главную угрозу едва родившейся революции, неизмеримо ее преувеличивая и ею в известной мере сами себя гипнотизировали.

При этом обоями сторонами упускалась из виду простая и даже элементарная истина — наполеоновская глава, если и бывает в революциях, то во всяком случае не в начале, а в самом конце. Упускалось также из виду, что для того, чтобы такая глава вообще могла быть написана, требуются определенные обстоятельства, могущие наступить лишь в результате довольно длительных и сложных процессов.

Теперь после февраля прошло уже более десяти лет. Русская революция еще не получила своего завершения. Ее террористический большевицкий фазис затянулся сверх меры. Однако, ряд непререкаемых признаков свидетельствует о медленном, но неуклонном приближении его конца.

Вот почему теперь постановка вопроса о бонапартизме является уже более естественно, не столь противоречит здравому

смыслу, как в 17-ом году. С одной стороны эволюция пореволюционной России несомненно подводит нашу родину к какому-то решающему поворотному историческому пункту. С другой стороны, априори можно допустить, что после такого длинного революционного периода, в течении которого стихийно совершались глубокие социальные изменения и менялась психика масс, могла произойти перестановка сил и создаться атмосфера благоприятная для бонапартистского переворота. Ведь опасность бонапартизма, хотя и понимая его по своему, «сигнализирует» теперь даже сама большевицкая оппозиция.

Необходимо, однако, отметить в самом начале, то парадоксальное положение, что хотя о бонапартизме теперь много говорят, но бонапартистского течения в действительном смысле слова нет ни в России, ни в эмиграции.

Никаких признаков его существования в России, не как предполагаемого настроения, а как идеологии и программы, до сих пор по крайней мере не замечалось. Что же касается эмиграции, то уже в силу природы последней, его и вообще быть не может.

Основной политический водораздел в эмиграции оставляет по одну сторону социалистов и республиканцев-демократов, принципиально враждебных всякой диктатуре, тем самым и бонапартизму, по другую, группировки, объединяющие осколки старых партий и классов, командовавших в царской России.

Последние выдвигают программы прикровенно или откровенно монархические. Но во всяком случае все, что от них исходит носит на себе, в той или иной мере, печать реставрационных планов. Иначе оно и быть не может в виду былой органической сродненности этих кругов с Россией старого режима. Они плоть от плоти ее, кость от ее кости. Поэтому среди них не может зародиться бонапартистское течение. Ибо реставрация и бонапартизм две вещи абсолютно разные и совершенно непримиримые.

Бонапартизм — власть выходящая из недр самой революции, а отнюдь не восстановление, пусть даже частичное, свергнутого строя; — он может явиться лишь как завершение известных революционных процессов, этот строй уничтоживших. Бонапартизм не означает победоносного возвращения на «командные посты» ранее господствовавших слоев. Бонапартистский режим опирается не на старые, а на новые консервативные силы, рожденные уже самой революцией, стремящиеся обезопасить свое *ею* созданное социальное владычество, и враждебные реставрации прежнего общественного порядка. Именно благодаря этому между бонапартизмом и большевизмом существует довольно значительное сходство. Бонапартизм, как и большевизм видит своих врагов одновременно и в сторонниках демократии и в поборниках старого режима. Он борется против демократов и против реставраторов, против свободы и против восстановления абсолютизма, опи-

рающегося на старый общественный порядок. Бонапартизм противопоставляет той и другой стороне свой новый абсолютизм, имеющий опору в новом социальном строе и из его внутреннего строения вытекающий.

Сейчас в русских правых и просто монархических кругах весьма в моде прославлять Наполеона и преклоняться перед его памятью. В нем видят «укротителя хаоса», богатыря, задушившего в своих могучих объятиях страшную революционную гидру.

Однако, в свое время монархисты и реакционеры всей Европы относились к нему несколько иначе. Вспомним, что они его называли не иначе, как «исчадием ада». Для них он был не «герой порядка», а свирепое детище революции, ею порожденное, продолжавший во вне дело ею начатое — взрывание европейского феодально-монархического строя. Наполеон продолжал это дело, но только еще в гораздо большем масштабе, разметая без колебания вековые троны, перекрашивая заново карту Европы, создавая новые государства, вводя в них на развалинах сокрушаемого им феодализма, внутренний порядок революционной Франции.

И по отношению к своему непосредственному противнику — французскому роялизму — тактика его была ни менее решительной, ни менее беспощадной.

Особенно яркой, но и кровавой ее иллюстрацией несомненно является трагический эпизод с герцогом Уэльским. Чтобы нагнать страху на начинавших поднимать голову роялистов Наполеон, как известно, не колебался послать ночью отряд драгун для захвата герцога на *чужой территории* — Баденской — где он проживал. Затем немедленный расстрел во рву Венсенского замка, без всякого прямого обвинения его оцравдывавшего. Метод не отличавшийся от большевицкого.

Во всяком случае, факт тот, что Наполеон обогрил свои руки в крови Бурбонов. Он, как и революция, казнившая короля, скрепил свою власть королевской кровью. Ипполит Тэн в своем замечательном этюде о Наполеоне рассказывает, что, беседуя однажды с католическим сенатором Вальнеем, «великий корсиканец» задал ему неожиданно вопрос: «чего желает Франция». Сенатор набрался смелости и ответил: «Франция желает возвращения Бурбонов». Переведенный на нынешний язык академика Струве ответ обозначал — нужен вождь царского корня. Наполеон, не задумываясь, моментально изо всех сил ударил Вальнея ногой в живот, — бедного сенатора вынесли на носилках.

Тэн приводит этот случай для характеристики молниеносности рефлекса у Наполеона. Но для нас он получает иное значение. Этот удар ногой в живот был символичен — он символизировал отношение Наполеона к роялизму, — *бонапартизма к реставрации*.

Для всех, кому не нужно доказывать, что русская революция

исторически-закономерное явление, кто понимает ее глубокую органичность, не может, конечно, быть сомнения в том, что реставрация в России невозможна. Русская революция, проявившая небывалый разрушительный размах, буквально ведь развеяла в прах те силы, на которых держался старый режим. И на ряду с этим революционный ураган снес без остатка социальные устои прежней России, фасадом которой служило самодержавие, и на его месте вырастает новое резко и радикально от него отличное. Прежней России уже нет, нет, следовательно, и той базы, на которую мог бы опереться реставрированный строй прошлого.

Но именно это и придает капитальное значение вопросу о возможности в России бонапартизма. Ибо, в виду совершенной революцией огромной разрушительной работы, антидемократическое завершение ее, если ей суждено получить такое завершение, возможно лишь в бонапартистском направлении.

Вопрос заключается вовсе не в том, что думает и желает белая эмиграция, удастся или не удастся какой-нибудь зарубежный с'езд, какие планы готовить Врангель или «августейший вождь», а совершенно в ином. Вопрос в том созрели ли уже или созревают в новой пореволюционной России, на почве взрыженной революцией, *новые* консервативные силы, могущие послужить основой для режима *нового* насилия; создалась ли в результате потрясений и бурь, пережитых выбитой из старой колеи страной, соответствующая бонапартистскому перевороту историческая обстановка.

Если ни того ни другого нет, то ответ ясен — бонапартизм в России невозможен, а если бонапартизм невозможен, то тогда неизбежна демократия, народовластие. Тут третьего не дано. Тут или-или. Русская революция по ликвидации ее большевицкого фазиса может пойти либо по пути бонапартистскому, либо демократическому. Других путей у ней нет. Вопрос о том возможен ли в России бонапартизм является, таким образом, лишь другою стороною вопроса о том — возможна ли в России демократия.

О бонапартистской опасности больше всего говорят русские меньшевики. Именно они и были теми, кто «сигнализировал» ее еще в 17-ом году. Десять лет тому назад она уже казалась им непосредственной и близкой. Ну, а теперь им, конечно, и «сам бог велел». Можно сказать без преувеличения, что страх перед призраком победоносно-грядущего бонапартизма превратился у них в какую-то поистине доктринерскую боязнь.

Но дело в том, что меньшевицкие опасения и мрачные пророчества определяются не столько анализом конкретной российской действительности, сколько рассуждениями по аналогии с французской революцией, к которой постоянно возвращается их мысль, ибо ведь они и русскую революция считают буржуазной, как и ее великую предшественницу.

Больше того, меньшевики исходят еще из этой предвзятой теории, что у каждой революции должен быть непременно свой бонапартистский фазис, который она лишь по своему переживает, как утверждал, например, Р. Абрамович, в докладе на эту тему в Париже. Раз был такой фазис во французской революции, то, следовательно, должен быть и в русской.

Но в том то и дело, что сама предпосылка, из которой делается такой категорический вывод, является более чем спорной и правильность ее никем не доказана.

Ни откуда не следует, что каждая большая революция уже в силу самой своей сущности таит в себе неизбежность бонапартизма. Это вовсе не какой-то абсолютный закон, действующий с неотразимой силой. Бонапартизм является порождением определенных исторических условий, которые в одних революциях могут быть налицо, а в других отсутствовать. Там, где они имеются возможен бонапартизм, там, где их нет, революция может избежать бонапартистского фазиса, который отнюдь не приходится считать для нее обязательным. А внешнее сходство событий ни в какой мере еще не доказательство, хотя бы относительной тождественности исторических условий.

Именно сравнение общих линий развития обеих революций — французской и русской — особенно наглядно выясняет эту истину.

Французская и русская революции отличаются одна от другой не только громадной разницей внутреннего содержания, — дело в том еще, что они и развиваются в двух разных направлениях — перед нами две абсолютно-противоположные линии развития.

Французская революция — в этом ее важнейшая отличительная черта — *воюющая революция*. Начавшись в период мира, она сама зажигает пламя военного пожара, бросив вызов монархической реакционной Европе, пытавшейся запугать ее бряцанием своего оружия. Она первая об'являет войну могущественнейшему монарху Европы «королю Австрии и Богемии», войну дворцам, мир хижинам, и это является важнейшим отправным пунктом, определяющим характер дальнейшего развертывания событий. Революция защищается, но и нападает, — она обороняет отечество, пламенный очаг родившейся свободы, но цель, которую она себе ставит: перенести на штыках свободу угнетаемым абсолютизмом народам. И в этом весь пафос ее борьбы во вне.

Французская революция ведет все время внешние войны, почти непрерывно воюет. И по мере того, как ослабевает напряженность революционной борьбы внутри, растет ее воинственность во вне, или, вернее было бы сказать, по мере роста ее воинственности во вне — и в прямой от нее зависимости — ослабляется напряженность внутренней борьбы.

Революционная энергия народа как бы переплескивается через границы Франции и катится бушующей лавиной войны по Европе, но за то энергия революционной стихии спадает, начинает исчерпываться внутри страны. Внешние войны как бы заменяют для нее внутреннюю революционную борьбу, они же, как новый Молох, пожирают ее лучшие, наиболее активные силы.

Внимание и страсть масс также постепенно перенесется с внутренних событий на внешние, — их пафос получает иное направление, их психика запечатлевается иными влияниями. А между тем дело революции внутренней не закончено, — перед нею еще стоят громадные задачи, позиции ее еще не закреплены, программа ее далека от осуществления.

Тут переломный момент французской революции, который роковым образом предопределяет ее дальнейшее направление — с уклоном реакции. Вступив на опасную и наклонную плоскость революционных войн, революция неизбежно должна катиться вниз по этой плоскости. Захваченные территории начинают удерживать уже под эгидой Франции, организовывать их французское управление. Рождается революционный шовинизм, политика принципов заменяется мотивами выгоды и славы. Внешние войны из освободительных превращаются в захватные. И в этом уже было крушение революции. Она морально сама себя убивала, изменив идеям составлявшим ее существо, ее силу и ее величие. Но соответственно этому неизбежно должно было измениться и внутреннее положение. Милитаристическое оьянение охватывало страну, гражданские доблести бледнели перед военными. Вчерашние герои переворотов, вожди народных движений отходят на второй план, — победоносные генералы становились властителями дум, кумирами толпы. В этой изменившейся моральной атмосфере совершилась потихоньку и некоторая передышка сил, уже подготовлявшая почву для прихода бонапартизма.

Военачальники раньше были подчинены гражданской власти, которая железной рукой держала их в повиновении. По мере того, как Франция становилась завоевательницей, удерживала и расширяла свои завоевания — положение меняется. Генералы начинают господствовать, гражданская власть сдает им одну позицию за другой, все более стушевывается перед ними, а они занимают все большее и большее место на арене. Усиление милитаристических элементов в самой стране совершается неуклонно в ущерб власти гражданской. Милитаризм вытесняет революцию.

И на ряду с этим создается новая сила, революцией порожденная, но становящаяся все более для нее опасной — армия. Это уже не прежняя армия санкюлотов, тесно связанная с борющимся народом, пылающая его революционным энтузиазмом, шедшая умирать за «братство, равенство и свободу». Годы переходов ее

совершенно преображают. Она приобретает вкус к добычам, к грабёжам. Завоевательные войны, победы, та особая специфическая обстановка, в которой она живет в корне меняет ее духовный облик. Армия теряет связь с народными массами, превращается в особый самодовлеющий организм, с своей особой, закаленной в дыму и пламени сражений, глубоко проникнутой грубо милитаристическим духом, психологией. Она вместе с тем боготворит своих вождей, ведущих ее к победам. Эти вожди превращаются в ее кулиров, а она сама в послушное орудие в их руках. Фактически армия была уже подчинена не высшей гражданской власти, а только своим вождям и все более проникалась настроениями, превращавшими ее в преторианскую армию. Как известно, политика Директории к концу ее существования заключалась главным образом в лавировании между наиболее популярными генералами. А перед наполеоновским переворотом генералы фактически были уже почти полными господами положения. По мере того, как революция стремительно шла на убыль как ее активные силы таяли волюция стремительно шла на убыль, как в связи с милитаристическим вырождением революции, падал авторитет гражданской власти, армия становилась *существенной реальной силой в стране* и она могла диктовать ей свою волю.

На этом фоне, или, вернее, в этой оправе появляется могучая фигура Наполеона, ослепляющая ореолом своих громоносных побед и блеском своего гения. Наполеон посмел сделать вывод из создавшегося объективного положения, — этим выводом и было 18-ое Брюмера. Своим переворотом он, собственно, не внес никакого радикального изменения, а лишь дал оформленное выражение тому, что уже существовало в действительности, подвел черту под законченной главой. Наполеон, как известно, победил без борьбы. Ему не против кого было бороться. Французская революция кончилась с момента перехода на путь завоевательной политики. Эта политика неуклонно расчищала путь для прихода нового цезаря, когда «настали сроки» новый цезарь явился и сел на готовое место. Но и сама завоевательная политика французской революции была лишь производной того всеопределяющего факта, что это была воюющая революция. Воинственная во вне, она не могла не стать завоевательницей, и став ею, роковым образом обречена была подпасть под власть милитаризма, наиболее ярким воплощением которого явился Наполеон Бонапарт.

Можно поэтому признать вполне правильным, несмотря на кажущуюся парадоксальность мнение французского историка Олара, утверждающего, что «государственный переворот, путем которого Бонапарт конфисковал в свою пользу республику и остановил революцию был хотя косвенным и отдаленным, но несомненным последствием событий 20 апреля 1792 г., когда законодательное собрание объявило войну королю Австрии и Богемии.

Совершенно иная линия революции в России. Наша революция — в противоположность французской начавшаяся во время войны, воевать не хочет. Она изо всех сил добивается мира и это ее непреодолимое стремление является одной из главных причин, обеспечивших торжество большевизма.

Русская революция в лице большевиков, захвативших руководство ею, заключает мир с императорской Германией, в то время, как французская объявила войну «королю Австрии и Богемии». И после этого она уже не ведет внешних войн. Военные действия красной армии на территории отделившихся от России окраин были, в сущности, лишь своеобразным продолжением внутренней гражданской войны.

Между тем, большевикам, как известно, воевать очень хотелось. Они ведь стремились изо всех сил копировать французскую революцию и переработали даже по своему, густо полив коммунистическим соусом ее «мелкобуржуазную теорию» революционных войн.

Вспомним, что о наступлении на Варшаву Ленин говорил, что это попытка «прощупать штыками Польшу», которая рассматривалась, как барьер между коммунистическим востоком и капиталистическим западом. Речь шла о том, чтобы выяснить насколько этот барьер прочен. А Троцкий, как всем известно, мечтал ни о чем ином, как о генеральном сражении на Рейне, где объединенные силы революции должны были нанести сокрушительный удар объединенным силам капитализма и тем открыть эру торжества мирового коммунизма, утверждаемого штыками красных армий. Все воинственные попытки большевиков кончились, однако, крахом по весьма простой причине. У рабочих и крестьян, которые не желали продолжать войну с Германией, занимавшей огромную часть российской территории, тем менее можно было пробудить пафос для войны во имя идей Ш-го Интернационала. Единственным результатом был новый тяжелый мир — Рижский, купленный ценою огромных территориальных и иных жертв.

Большевики своим стремлением сделать русскую революцию воинственной во вне, в сущности, шли наперекор основной линии ее развития, которая как раз привела их к власти, — поэтому они и потерпели жестокое фиаско и спаслись лишь своевременным отступлением. Именно потому, что русская революция не была воюющей революцией, не вела внешних войн, не одерживала головокружительных побед, не захватывала чужих территорий, а отдавала свои собственные лишь бы избавиться от необходимости воевать, мы и не видим в России условий, аналогичных тем, какие были во Франции, накануне 18-го Брюмера.

У нас нет ни милитаристического опьянения в стране, ни господства военщины, захватывающей все позиции. У нас нет побе-

доносной армии оторванной от народа, проникнутой духом прегоризма, слепо идущей за своими вождями. Советская красная армия, — армия крестьянская, с деревней кровно связанная, приносящая в казарму ее настроения. Это армия мирного времени, не нюхавшая еще пороку, никакого боевого закала не получившая сравнить ее в какой бы то ни было, хотя бы самой отдаленной степени с французскими армиями времен Директории — значит совершенно произвольно играть историческими аналогиями. Наконец, у нас нет полководца, увенчанного лаврами побед, способного ослеплять массы блеском своей славы и своей личностью, наиболее могуче выражающей измененную психологию страны. Наполеон после итальянского похода сказал Сиезу: «Я создал великую нацию». Кто из советских полководцев мог бы это сказать. Франция бежала за колесницей Наполеона, потому что видела в нем героя, в котором наиболее ярко воплощались черты ее собственного преображенного лица. Именно в этом и был секрет успеха Бонапарта.

Дело не только в том, что французская революция была воюющей, а русская революция не вела внешних войн, Само это различие явилось лишь внешним выражением противоположности их линии развития. Существо же различия гораздо глубже, как и гораздо значительней определяемые им последствия.

У нас энергия революционной стихии не переплескивается через границы, как во Франции, а, наоборот, направлена исключительно внутрь. Вспомним, что распад фронта в значительной мере вызван был непреодолимой тягой солдат-крестьян принять участие в «черном переделе».

В русской революции внешнее отступает перед внутренним. И в противоположность тому, что было во французской революции, напряженность внутренней борьбы возрастает, по мере того, как замирает внешняя война. У нас внутренняя борьба поглощает, можно сказать, без остатка всю энергию революционной стихии.

В этой борьбе боевой пыл масс загорается страшным пламенем, но он тухнет у тех же масс, когда речь заходит о противодействии врагу внешнему. Ужасная, как смерч, революционная стихия бушует на необъятных пространствах России, — но она бушует только внутри ее границ. Внешних войн нет, но за то есть беспощадные, кровопролитнейшие гражданские войны. Потому что русская революция проявляет такую максимальную разрушительную силу, потому что она производит величайшие опустошения внутри страны. Вместе с отжившим, негодным уничтожается много ценного и нужного, гибнут культурные плоды упорной работы поколений. Но зато выкорчевываются с корнем все пни прошлого, не остается камня на камне от тяжелого векового здания бы-

лого гнета. Именно потому, что энергия революционной стихии направлена исключительно во внутрь, революция так глубоко преобразовывает Россию, так радикально меняет ее внутреннее строение. И вот здесь то как раз сказалась громадная разница между обоими революциями.

Французская революция едва начав дело внутреннего преобразования, не закрепив прочно своих позиций, устремляется на путь внешней борьбы. Она тем вдвойне содействует образованию в ее недрах сил враждебных идеям, которые она провозглашает, в то время, как ее собственные живые силы неотвратно идут на убыль.

Русская революция тем, что энергия ее была направлена внутрь, и преобразования, как, впрочем, и разрушения глубже, не только не приводит к созданию исторической обстановки благоприятной для бонапартизма, но и надолго ослабляет возможность быстрого созревания внутренних консервативных элементов, на которые могла бы опереться бонапартистская власть.

В известной мере можно, конечно, признать, что своеобразная форма бонапартизма не персонального, а коллективного, уже существует у нас в лице большевизма. Сходство его с историческим бонапартизмом — революционное происхождение, борьба против демократии и реставрации, как уже указывалось выше, очень велико. Оно еще огромно усиливается тем, что большевизмский строй подобно бонапартистскому основан на демократическом обмане и облыжно изображается, как законное выражение народной воли.

У большевиков, как и у Бонапарта, существуют ведь на бумаге и избирательное право и конституция, но и то и другое превращено в мертвую букву практикой крайнего абсолютизма.

Наконец, большевизмский строй, как и бонапартистский, подавляя всякую свободу мысли, всякое живое движение, малейшее проявление самостоятельности, политически закабалая граждан, тоже, по существу, глубоко консервативен, подобно наполеоновскому. Правда, бонапартизм появился на историческом экране в трехуголке и «сером походном сюртуке», а большевизм щеголяет в красном плаще коммунизма. Но это обстоятельство само по себе еще существа дела не меняет. Помимо того, сходство усугубляется ведь еще и тем, что тот и другой явились неизбежными последствиями липий развития революции, которая их породила. Бонапартизм, как крайнее выражение внешнего устремления революции — *ее военного максимализма*, большевизм, как крайнее выражение внутри бушевавшей разрушительной стихии — *ее социального максимализма*.

И тот и другой логически вытекали из хода событий и их внешнее различие лишь глубже подчеркивает внутреннее раз-

личие одной революции от другой. Но есть между бонапартизмом и большевизмом громадная разница.

Бонапартизм опирался на ответственные, сознательные силы — армию, чиновничество, новую буржуазию, с которыми он был *органически* связан, и отстаивая основы своего господства, защищал вместе с тем интересы определенных классов. Большевизм фактически опирается лишь на собственную партийную организацию, через которую он держит в подчинении войска и бюрократию и чьих бы то ни было классовых интересов, кроме интересов своей диктатуры не защищает. Он не имеет под собою социальной базы. И самое главное. Наполеон, давал буржуазное завершение революции, соответствовавшее в общем ее сущности. Он стремился лишь обезопасить в этом процессе перевес наиболее сильным сознательным элементам, не выходя, однако, из проложенного историей русла. Большевики же, наоборот, пытаются дать русской революции коммунистическое завершение идут против ее глубокой внутренней тенденции, борются против исторической необходимости.

Большевизм в силу всего указанного, не может, следовательно, явиться завершающей стадией русской революции. И несмотря на все внешнее сходство его с бонапартизмом, факт его наличности *сам по себе* не устраняет возможности появления иного бонапартизма, настоящего.

Если продолжить сравнение между французской и русской революциями, то отсутствие в России условий, подобных тем, какие существовали во Франции накануне 18-го Брюмера станет еще более ясным.

Вспомним, что наполеоновскому перевороту во Франции предшествовал период глубокого политического маразма. Республиканские партии были обезкровлены физически и морально, без видных вождей, без постоянных связей с массами и к тому же безнадежно скомпрометированные. В правительстве заседали лица мало известные стране, без авторитета и реальная власть у них быстро уплыла из рук. Ослабление государственного аппарата, моральное разложение, спекуляция, хищения достигали крайних пределов.

Оппозиция, напр., нападая на правительство утверждала, что «оно угрожает свободе путем разорения государства и деморализации общества». В то же время снова стала усиливаться непрекращавшаяся внешняя опасность, — армии республики понесли несколько крупных поражений, создавших угрозу границам.

Как и в 1792 году к концу Директории стала ощущаться во Франции потребность в сильно централизованной власти. Таковую власть могла создать единственная сила — армия. И она ее создала.

В России как будто в этом нет особенной необходимости. Большевиков можно обвинить в чем угодно, но уже во всяком случае не в том, что они слабая власть. А при существующем политическом положении испытывается потребность не усиления диктатуры, а, наоборот, раз'ятти ее тисков, мешающих стране дышать и нормально развиваться.

То же различие мы находим при сравнении социальной обстановки во Франции, периода Директории и в большевицкой России.

Во Франции положение было тогда ясное. Там буржуазия стала вместо разоренного, лишенного своих привилегий дворянства, новой социальной аристократией. Французская революция не только не ослабила буржуазный класс, но, наоборот, огромно его усилила, влила в него свежую кровь, приобщив к нему многочисленные, поднявшиеся с низов элементы. Буржуазия быстро и огромно богатели во время революции, отчасти благодаря военным поставкам, но еще больше по той причине, что в ее руки попала громадная доля национальных имуществ, продававшихся за бесценок, вследствие режима инфляции конфискованных земель дворянства и церкви. Но ее чрезмерное и быстрое возвышение при бедственном положении трудовых классов, сделавших революцию, не могло не возбуждать растущего раздражения в «низовой революционной стихии». Уже среди возрождавшихся якобинских клубов стали распространяться довольно резкие антибуржуазные настроения. Уже заговор Бабефа явился серьезным предупреждением, свидетельствуя о накопляющемся в атмосфере электричестве. Буржуазия боялась якобинцев. Она не менее боялась и роялистов, начавших поднимать голову к концу Директории, создавая угрозу новому общественному порядку. Буржуазии нужна была шпага, И понятно, что она с восторгом должна была ухватиться за победную шпагу «великого корсиканца». В России и в этом отношении положение прямо противоположное. Русская революция не возвысила русской буржуазии, а почти целиком ее уничтожила. Наш буржуазный класс в процессе революции, не усилился за счет разбитого дворянства и не занял его места, как во Франции, а как раз вместе с ним очутился под тяжелыми революционными жерновами, которые безжалостно размальзвали все имущие слои старой России. И, если теперь в России под влиянием Нэпа начинает создаваться новая буржуазия, то она во всяком случае еще настолько слаба численно, настолько загнана, что далеко еще не в состоянии бросить сколько-нибудь тяжелую гирию на чашу весов жизни и смерти. Французская буржуазия перед наполеоновским переворотом была уже социальным гегемоном в стране, могучим и сильным привилегированным классом. Такой буржуазии в России нет.

Единственным классом, который русская революция действи-

тельно возвысила социально, чье положение в этом смысле она в корне изменила, кто «был ничем», а теперь фактически стал всем — это огромное многомиллионное крестьянство. Нужен ли этому крестьянству, прошедшему через огненное горнило величайшей революции, разбившей тяготевшие над ним цепи векового угнетения, — бонапартизм? Весь вопрос сводится к этому.

Меньшевики так усиленно «сигнализирующие» бонапартистскую опасность видят в крестьянстве — ибо сильная буржуазия отсутствует — тот класс, в котором бонапартизм мог бы получить социальную опору.

Правда, русское крестьянство, как раз то и представляло собой ту революционную стихию, которая разметала в пыль самодержавие и весь им олицетворяемый социальный строй, сохранявший еще невытравленные черты крепостничества. Правда, то же крестьянство совершило то, что до сих пор еще нигде, кроме России, неосуществлено — уничтожило радикально и без остатка все нетрудовое землевладение. Оно же в процессе революции — пока могла свободно проявляться народная воля — шло всей массой своей за социалистами и буржуазные партии не нашли в ней никакой, даже малейшей, поддержки. Меньшевики, однако, полагают, что несмотря на все это, именно крестьянство способно поднять на щит русского Бонапарта.

Крестьянство, уверяют они, действительно было раньше революционным, но сейчас, когда предел крестьянских стремлений достигнут, — оно стало консервативным.

Умами русского крестьянства будто бы владеет мысль о сильной диктатуре, анти-демократической и анти-социалистической. Оно стало враждебным пролетариату и революции. Никаких, могущих послужить основанием для обобщающих выводов фактических данных, подтверждающих такие утверждения, конечно, никто не приводил. Все, опять таки, сводится, преимущественно, к чисто логическим выкладкам и рассуждениям от противного и т. д.

Крестьянство — консервативно? В известной мере, если угодно, да, но в каком, однако, смысле?

Консерватизм бывает разный, в зависимости от того, что хотят «консервировать» (сохранить).

Английский лорд консерватор и русский мужик «консерватор», надо полагать, имеют в виду сохранить совершенно различные вещи. Русское крестьянство можно считать «консервативным» только в том смысле, что ему не нужно более совершать революции для удовлетворения своих социальных чаяний. Вместе с тем, оно желает «консервировать» то, что уже совершенная революция ему дала: землю, гражданское равенство, новый земельный строй, созданный на развалинах нетрудового землевладения.

Короче, крестьянство, в силу своего положения, как и преобразований, произведенных мощным революционным процессом, естественно должно стремиться сохранить основные завоевания русской революции, определивших ее глубокий не-буржуазный (уничтожение частной земельной собственности), трудовой характер.

Такого «консерватизма» вряд ли можно пугаться, — для демократа он ни в какой мере опасности не представляет и бонапартизму вырасти на нем весьма трудно.

Обратное могло бы произойти лишь в том случае, если бы в России существовала какая-нибудь серьезная сила, угрожающая его завоеваниям, тогда, быть может, крестьянство укрылось бы от нее под крылом своеобразного Бонапарта. Но таких сил в России нет и быть не может. Для чего же крестьянству бонапартизм, — оно ни в каком смысле в нем не нуждается. Зачем крестьянство добровольно подставит свою шею под ярмо нового деспотизма и станет поддерживать его в подавлении народовластия, когда при демократическом строе именно оно — крестьянство — в силу его подавляющей численной массы, бесспорно превращается в хозяина земли русской.

Бонапартизм, как и всякая диктатура в крестьянской России, раньше всего ведь будет направлен против крестьянства. Именно потому, что оно представляет преобладающее большинство населения — бонапартистский режим, как господство меньшинства, должен был бы держаться на политическом поработении крестьян.

Предполагать, что русское крестьянство *сознательно*, — а именно так ведь и предполагается, — пойдет за Бонапартом, значит допускать, что оно способно собственными руками себя поработить.

Но крестьянство, будто бы, жаждет диктатуры для борьбы с пролетариатом. Действительно ли, однако, трудящаяся крестьянская масса питает такую ненависть к городским рабочим? Не имеем ли мы здесь дело с сильным преувеличением, не рассматривают ли пессимисты опасность в увеличительное стекло?

Не надо, ведь, все-таки, упускать из виду, что между крестьянством и пролетариатом нет в России такой резкой демаркационной линии, как на западе. В нашей крестьянской стране крестьянство и пролетариат связаны тысячью нитей, а последний, в значительной части своей, является даже крестьянским. Крестьянский характер русского пролетариата особенно усилился именно теперь, когда, в связи с восстановлением промышленности, в города притекли большие массы «деревенского молодняка». Не надо забывать еще и того, что и в революции, принесшей социальное освобождение крестьянству, оно шло нога в ногу

с пролетариатом; вместе с ним завоевало землю, объединялось с ним под одними социально-политическими знаменами.

И, если даже допустить, что крестьянство все же, в результате большевицкого властвования, из-за деревьев не видит леса, возненавидело пролетариат и пылает желанием его обуздать, то и в этом случае до бонапартизма было бы еще далеко.

При демократическом строе, где власть фактически будет в руках крестьянства, или в сильнейшей степени от него зависеть, ему легко было бы, если бы оно этого пожелало, «сократить» пролетариат, не выходя из рамок демократии, не подавляя конституций.

Для того, чтобы «справиться» с несколькими миллионами городских рабочих, ста миллионам крестьян нет необходимости отказаться добровольно от собственной свободы. Этого оно могло бы достигнуть, оставаясь свободным, не принося в жертву своих собственных политических прав. Но... остается еще доказать, что крестьянство, не в воображении только «пессимистов» об'ята яростной, ослепляющей его пролетариатофобией.

У боящихся бонапартизма, имеется еще аргумент, который они считают несокрушимым — «кулаки».

Аргумент о «кулаках» строится на убеждении в углубляющейся дифференциации деревни, выделяющей все более значительные зажиточные «кулацкие» силы, могущие стать опорой для сильной диктаторской буржуазной власти.

Эта, в общем, та же самая знаменитая теория дифференциации, которую, в свое время, с таким упорством «разрабатывал» и развивал Ленин. На этой теории была построена и ленинская политика «разжигания классово-борьбы в деревне». Она потерпела жестокий крах, потому что теория оказалась в абсолютном несоответствии с действительностью. Теперь ее снова вытаскивают на свет божий уже для других надобностей.

На самом деле, русская деревня до революции была слабо дифференцированной, по каковой причине и не удалось разжечь в ней никакой внутренней войны. Революция, после «черного передела» и «раскулачивания», деревню еще более нивелировала. Затем, в связи с начавшимся, после годов страшного упадка земледелия, процессом восстановления прежней посевной площади, происходила общая продвижка вверх крестьянских хозяйств всех категорий, характеризуемая уменьшением беспосевных хозяйств, некоторым увеличением относительно крупных, но и сильным ростом середины — середняцкого крестьянства. Это как раз противоположное тому, что называется дифференциацией, при которой, наоборот, сокращается середина, а растут оба противоположных фланга. Данные, публикуемые советской статистикой, только это, в конечном счете, и рисуют. Во всяком случае эти же данные неопровержимо доказывают, что условно — применительно

к российской нищете — зажиточные элементы крестьянства, даже, если всех их и отвести под категорию «кулаков», представляют еще далеко не крупную величину. И, конечно, не такую, чтобы они могли — разбросанные в крестьянском океане, против воли подавляющей крестьянской массы, служить твердой базой для крепости бонапартизма.

Меньшевицкое крыло марксизма вообще слишком торопится — тут сказывается своего рода профессиональный навык — приписывать русскому крестьянству реакционные настроения.

Во время революции и в гражданской войне крестьянство для этого поводов не подавало. В России — не в пример революционной Франции — крестьянской Вандеи не было. В России не было ни монархических, ни просто реакционных движений в крестьянстве, даже на почве религиозного фанатизма. Во время крестьянских восстаний против большевиков — еще совсем недавних — нигде и ни разу не выдвигались требования, запечатленные духом консерватизма или буржуазной реакционности. Против режима национализации земли крестьянство тоже до сих пор не выступало. Община, база истинной деревенской демократии, несмотря на направленные против нее попытки большевиков, продолжает существовать, охватывая громадные пространства российской с.-хозяйственной площади...

Именно потому, что Россия страна трудового крестьянства, которому революция принесла социальное освобождение, именно потому, что революция не укрепила и не вынесла на поверхность нетрудовых классов, которые были бы заинтересованы в бонапартистском ее завершении, шансы бонапартизма в России отсутствуют. И они отсутствуют тем более, что основная линия развития революции привела к созданию исторической обстановки, абсолютно противоположной той, какая необходима для бонапартистского переворота.

Е. Сталинский.

Новый критик марксизма

(Генрих Де Ман об иллюзиях и реальностях социалистического прогресса).

СОЦИАЛИЗМ И КУЛЬТУРА

Почему до сих пор нет «мировой революции»? Почему европейский пролетариат не свергает буржуазных правительств, по примеру России и не выполняет «гениальных» предвидений Ленина?

На этот вопрос мы имели от большевиков три ответа. Сначала нам говорили, что всему виной «измена вождей», которые якобы помешали (и все еще мешают) массам ринуться в бой в благоприятный стратегический момент, затем объявили, что наступила «временная стабилизация капитализма» и, наконец, уже после стабилизации революция несколько раз не давалась в руки в разных странах (Болгария, Германия, Эстония, Китай) вследствие «ошибок руководства», совершенных коммунистическими «вождями».

Большевикам до сих пор не пришла в голову простая мысль, что революции — в том виде, в каком она им желательна — (захват власти и гражданская война) нет потому, что в Европе нет объективных условий, из которых она с неизбежностью должна была бы родиться.

Одна из основных, «гигантских» ошибок Ленина заключалась в том, что он совершенно не понял *психологии современного европейского рабочего движения*, его внутренних побудительных сил, которые гораздо важнее, чем те или иные индивидуальные взгляды, ошибки, «уклоны», или даже «измены» вождей. Это до такой степени верно, что даже европейские коммунисты, если они не являются простыми крестуррами ЦК ВКП, а представляют так сказать «естественную» (вытекающую из местных условий) крайнюю левую рабочего движения, как общее правило не оправдывают ожиданий московских стратегов «мировой революции».

Упорное «запаздывание» мировой революции (т. е. захвата власти, диктатуры и гражданской войны) вызывает в большевистских кругах сложное чувство — гнева, горечи, разочарования, страха, озлобления. Это понятно. «Мировая революция» им нужна «до зарезу».

Но нужна-ли она европейскому пролетариату? Чего хочет этот пролетариат, эти «сотни миллионов», которыми так легко распоряжаются вслед за Лениным всевозможные Златогоровы из «Правды»? Каким путем они идут к социализму? На этот вопрос большевики (к сожалению, не они одни) дают обычно поверхностно-агитационные ответы.

Если оставить в стороне фанатизм Ленина, нужно признать, что проблема завоевания власти и использования ее для социалистического строительства приняла после войны конкретные формы, с тех пор как рабочее движение выросло в значительную силу в экономической и в политической области. Рабочий класс несомненно приближается к власти. Он был уже временно у власти в Англии, Швеции и Дании. В настоящий момент Финляндия управляется рабочим правительством. Рабочие партии участвовали и участвуют в коалиционных правительствах разных стран. И тем не менее *социалистической революции нет*, о проведении в жизнь *социалистической программы* пока нет речи. Почему? «Социал-предательство, отвечают большевики, «вожди» изменили массам, продались буржуазии». Так ли это?

У меня остался особенно ярко в памяти один разговор с Джокомо Маттеотти, искреннейшим и глубочайшим из современных социалистов. Он говорил мне:

«Приходится признать, что пролетариат еще не готов для социалистического строя, для управления государством. Мы мало обращали внимания на культурное и моральное воспитание его, сосредоточив всю нашу работу на «защите материальных, экономических интересов».

Эта проблема культурного развития и социалистического воспитания пролетариата занимает теперь всех теоретиков социалистического движения. Гильфердинг считает, что она для настоящего времени является основной. Чрезвычайно любопытный и смелый подход к ней заключается в недавно выпущенной книге талантливого бельгийского социалиста Генриха де Ман (Henri De Man), которая заново «ревизует» марксизм и пытается дать новое понимание социализма, приближающееся к русской или «народнической» социалистической школе»¹⁾.

1) Книга Де Мана *Au delà du Marxisme* заслуживает самостоятельной статьи. В этом письме я ограничусь цитатами из его доклада о «Реальностях и иллюзиях социалистического прогресса».

Де Ман был за несколько лет до войны «ортодоксальным» и «левым» марксистом. Если не ошибаюсь одна из его тогдашних книжек удостоилась недавно перевода на русский язык в Советской России.

В своей книге «*Au delà du Marxisme* (Дальше, вперед от марксизма) он пытается «ликвидировать марксизм» и обосновать новую «психологическую» теорию социализма.

Книга эта является, по его собственным словам результатом умственного и духовного кризиса, продолжавшегося около двадцати лет, и вызванного не столько научными занятиями, сколько *наблюдением над практикой* рабочего движения.

Свое марксистское образование Де Ман получил в Германии — обетованной земле марксизма.

Но «по мере соприкосновения с профессиональным движением наиболее острые углы моей ортодоксии стирались», говорит он. Уже накануне войны Де Ман является спутником «более широкого толкования марксизма», не посягая, однако, на его основания.

Основания эти были поколеблены войной, в которой Де Ман принял участие в качестве волонтера бельгийской армии.

Душевные переживания военного времени дают ему право говорить, что книга эта «написана кровью».

«Мучительное перерождение внутренних стимулов, сделавшее интернационалиста и антимилитариста сторонником войны до конца против Германии, разочарование, вызванное крушением Интернационала, ежедневное подтверждение инстинктивного характера импульсов, руководящих человеческими массами, проникновение в социалистический рабочий класс националистического яда, все более глубокая пропасть отделяющая меня от моих бывших единомышленников, все это терзало меня сомнениями, отзвук которых можно найти в этой книге ²⁾».

Де Ман пережил в траншеях, под постоянной угрозой смерти глубочайший душевный кризис и на другой день после перемирия уехал на два года в Америку для того, чтобы «в свободной, бродячей и полной приключений жизни обрести новое духовное равновесие».

Вернувшись в Европу, он основал в Брюсселе «Высшую Рабочую Школу» и был ее директором в течение двух лет. Эта школа, существующая на средства бельгийской рабочей партии, является одним из лучших социалистических учебных заведений Европы.

В 1922 году Де Ман после основания школы уехал из Бельгии на несколько лет для того, чтобы отдалиться целиком своей по-

²⁾ *Au delà du Marxisme*, стр. 12-13.

пытке заново «ревизовать» марксистскую доктрину и дать новое «психологическое» объяснение рабочего движения и социализма.

Свою книгу он выпустил сначала на немецком языке, в Германии (*Zur psychologie des Socialismus*, изд. Diedrichs, Jena, 1926), считая, что его долг выступить с критикой марксизма на его родине.

В своем, произведшем большое впечатление в Бельгии, докладе об «Иллюзиях и реальностях социалистического прогресса» Де Ман сравнивает первые годы социалистического движения с теперешним его состоянием.

Вначале движение носило, говорит он, *религиозный характер*. Оно было пропитано «мессианистской верой», стремлением к абсолютной справедливости, к идеалу. Религиозным оно было в том смысле, что социализм объединял (*religare*) людей общей верой в определенный моральный принцип, определявший различие между добром и злом, справедливостью и несправедливостью.

Это было героическим временем социализма.

Де Ман не боится признать, что современное состояние рабочего движения отличается от тех ожиданий, той «религиозной лихорадки», которые одушевляли его пионеров 30-40 лет тому назад. Движение выросло, но вместо революции занялось частичными улучшениями, стало практичным, «постарело», отяжелело, обросло всевозможными деловыми учреждениями.

Было время, когда Де Ман восставал против «реформистского» духа и «практицизма» своей рабочей партии, думая, что ответственными за него являются вожди.

Теперь он пришел к убеждению, что это не так.

Он показывает, что не вожди, а сами *массы* становятся в известной степени «буржуазными».

Успехи рабочего движения привели к увеличению благосостояния масс и росту потребностей.

«После нескольких лет отсутствия невольно поражаешься внешним «обуржуазиванием» бельгийского пролетариата. Но в общем после войны лишь усилилась эволюция, начавшаяся уже двумя поколениями раньше. Достаточно вспомнить о том, что было 20-30 лет тому назад. Тогда рабочий класс внешне отличался своей одеждой, своими манерами, разговором, меблировкой квартиры, своими развлечениями и обычаями. Лишь меньшинство населения следовало тогда моде. Теперь мода, т. е. пример буржуазии — царит повсюду, хотя ее колебания проникают в наши слои населения с опозданием и в смягченной форме».

Буржуазная цивилизация проникает в пролетариат в ухудшенном виде. Это «эроз-цивилизация», ее дешевое издание.

Но вместе с тем стираются внешние отличия, что отвечает глубочайшей потребности выйти из состояния «нищего» клас-

са, подняться на высшую ступень, «жить по-человечески». Это высший, лучший образ жизни, в глазах пролетариев, в жизни буржуев.

«Рабочий класс обуржуазивается в том смысле, что для среднего рабочего, буржуазный, в частности мелко-буржуазный образ жизни является идеалом и примером».

И это несмотря на обострение классовой борьбы, которое Де Ман считает несомненным фактом.

«Пародоксальный результат, который не предвидели социалисты, думавшие, что борьба рабочих за их интересы приведет их автоматически к социалистической цивилизации».

На самом же деле, говорит Де Ман, это совершенно естественно, ибо психологические мотивы классовой борьбы и *внешнее* культурное сближение — одни и те же.

Рабочий ведет борьбу потому, что он хочет вырваться из низшего социального положения, которое он осознал путем сравнения с высшим — буржуазным.

«Одновременно, говорит Ман, произошли изменения в *стратегии* рабочего движения. Вместо классической войны с генеральным сражением, классовая борьба приняла характер войны траншейной и ряда мелких операций. При этом рабочий класс дорожит своими частичными завоеваниями и всеми созданными им учреждениями — профсоюзами, кооперациями, кассами, домами отдыха, банками, клиниками и вместе с тем государством, родиной, в которых эти завоевания кристаллизуются».

«Мы далеко ушли от времен коммунистического манифеста, когда ему нечего было терять, кроме цепей».

В рабочем движении наряду с *революционными* действуют теперь и *консервативные* стимулы: охрана своих учреждений.

Нужно ли поэтому предаваться пессимизму, скорбеть о вырождении рабочего движения?

Нет, отвечает Де Ман.

Даже в том случае, если бы *цель движения переменилась*, нет основания для пессимизма. Вполне возможно, что конечный результат будет отличаться от того, что он хотел осуществить вначале, ибо «социальная эволюция не есть лабораторный опыт».

Но опять таки если сравнить теперешнее положение пролетариата с тем, что оно было 30 лет назад, приходится признать что

«Если мы не совершили той социальной революции, которую романтики смешивали с взятием власти, то мы во всяком случае совершили гораздо более глубокую революцию, чем какая-либо перемена в способе правления. В течении одного поколения мы изменили условия жизни трудящихся масс в такой мере, что по сравнению с этим изменением все революции политической истории кажутся бурями в стакане воды».

В основе этих изменений лежит *рост потребностей рабо-*

чего класса. При этом материальные условия могут меняться, заработная плата может подниматься и падать, но поднявшийся *уровень потребностей не может уже понизиться.* Ибо здесь действует «несжимаемый», вечно прогрессирующий моральный фактор: сознание человеческого достоинства, чувство справедливости и равенства». Самое глубокое изменение происходит в мире за последние два поколения, говорит Де Ман, — это сокращение рабочего дня.

«Я сам помню стачки, целью которых был 11-ти часовой рабочий день».

Сокращение рабочего дня — не экономическое только, а моральное и культурное завоевание, которое более всего способствовало росту новых потребностей.

«В отличие от своих дедов современные рабочие — не орудие чужой воли, не животные, а люди... Десятки миллионов людей приобщены к цивилизации»...

Но, говорят, эта цивилизация буржуазна.

«Если даже это так, отвечает Де Ман, «это все-же громадный шаг вперед. Он был сделан в этом направлении под давлением инстинктивных потребностей, которые нужно было и нужно еще удовлетворить в первую очередь».

Рабочий живет «по-мещански», но он живет чище, питается и одевается лучше.

«Он не стал еще человеческим существом, отличающимся от буржуа настолько, насколько нам этого хотелось бы. *Но он стал человеком.*»

Признав это, приходится все-таки поставить основной вопрос: «Идем ли мы к социалистической цивилизации или к распространению и вульгаризации цивилизации буржуазной?». Это зависит, по мнению Де Мана, от воли рабочего движения, от того, какая идеология в нем восторжествует.

«Победа социализма над капитализмом и поглощение рабочего класса капитализмом одинаково возможны, на мой взгляд. Нет такого исторического или экономического закона, который позволил бы нам предсказать с уверенностью какой из двух исходов реализуется. Это вопрос не познания, а воли».

И дальше Де Ман говорит уже совершенно в духе русских эсеров:

«Я не думаю, что марксизм прав, считая социалистическое общество неизбежным результатом хозяйственного развития. Социализм не может выйти готовым из кризиса капиталистической системы. Его могут осуществить лишь социалисты, т. е. человеческие существа, отличающиеся от человеческих масс сегодняшнего дня. Если бы было достаточно, чтобы методы производства и концентрация предприятий были «зрелы» для социализации,

мы бы уже жили при социалистическом режиме. Хозяйство «зрело», но люди еще не созрели».

Классовая борьба обостряется, но она вовсе не обязательно должна привести к социализму. Ее исход зависит от *психологического фактора, от победы психологических мотивов, ведущих к социализму, над теми, которые тянут в сторону «мещанивания»*.

«Марксистская доктрина, говорит Де Ман, не признает в достаточной мере значения морального элемента в борьбе классов. Ее внимание слишком приковано к материальным *интересам*».

Между тем удовлетворение материальных потребностей ведет к *насыщению*. На известной стадии этот стимул перестает действовать, тогда как *«моральные потребности ненасытны»*, ибо они развиваются и повышаются по мере удовлетворения.

В рабочем движении живут две души: капиталистическая и социалистическая, материальная и моральная, приспособляющаяся и бунтующая. Все зависит от того, какая победит.

«Осуществление социализма несет вопрос *силы*, победы над «внешним» классовым врагом. Это вопрос *способности*, победы над врагом «внутренним». Его победа зависит от торжества социалистической души в рабочем движении над капиталистической».

Однако, удовлетворение материальных потребностей должно необходимо предшествовать удовлетворению моральных. Нищета ведет к безразличию, покорности, деморализации. Социалистические идеи легко усваиваются высшими слоями рабочего класса. Поэтому распространение буржуазной, «мещанской» культуры в рабочих массах не должно нас пугать.

«Мы думали, говорит Де Ман, что движение пойдет по прямой линии. В действительности оно развивается по спирали... Теперь мы находимся на критическом повороте. От нас будет зависеть потонет ли социалистическая душа в тине мещанской посредственности, или получит новый импульс к движению вверх — к моральным завоеваниям, к преобразованию цивилизации и самого человека».

Для этого нужна «новая расширенная и углубленная концепция социализма, новая доктрина, основанная больше на психологии, чем на политической экономии. Это будет социализм, требования которого будут обращены более к нам самим, чем к другим, который будет говорить больше об обязательствах, чем о правах....

Революция будет для него не столько завоевание государства, сколько преобразование моральных основ общественного строя, новая цивилизация».

Де Ман надеется, что в этом новом фазисе движения возродится с *новой силой*, первоначально одушевлявший его «квази-

религиозный» энтузиазм, и «алканье материальных благ сменится алканьем справедливости и красоты».

Конечный вывод Де Мана, следовательно, вполне оптимистичен. На созданной тридцатью годами рабочего движения основе *может* и должна быть создана социалистическая цивилизация. То, что уже достигнуто является, несмотря на внешнее «мещанство», громадным завоеванием. Но нельзя требовать от класса, чтобы он «перепрыгнул» через неизбежную стадию своей эволюции.

Нельзя широчайшее массовое явление объяснить «изменой вождей», «сравнением пролетарской верхушки с буржуазией», появлением «рабочей аристократии» и т.д. Еще меньше оснований — с точки зрения интересов социализма, строить все расчеты на наиболее обездоленных, отсталых и угнетенных слоях рабочих, будя в них разрушительные «бунтовские» инстинкты, надеясь с их помощью захватить власть и установить диктатуру.

Овладение государственной властью не разрешает всей проблемы. Необходимо создать не только материальные, но и моральные, идейные условия для переустройства общества на социалистических началах.

В. В. Сухомлин.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РУССКОГО

Возможна ли война против России? — вот тот постоянный вопрос, который с особенной силой привлекает внимание *советской* и «зарубежной» *фашисто-монархической* печати. Продержавшись обычно некоторый более или менее продолжительный промежуток времени на газетных столбцах, он теряет свою остроту и отходит на задний план с тем, чтобы вновь возродиться (иногда совершенно неожиданно) на тех же столбцах. Последнее полугодье отмечено чрезвычайным оживлением вопроса о возможности и даже неизбежности войны — против России, конечно, на страницах все той же самой прессы.

Не входя в подробное рассмотрение истории развития этого вопроса (порою очень своеобразной) в советской и «зарубежной» публицистике, отметим сразу же характерное обстоятельство.

Советская пресса, раньше необычайно воинственная, сама прозившая походом на все четыре стороны света, мало по малу изменила тон. Ее страницы переполнены теперь не запугиваниями буржуазного Запада, не угрозами двинуться революционной (а то и просто «священной» — мусульманской) войной против капиталистических государств, а статьями и сообщениями о возможности, вероятности, *неизбежности* войны этого самого капиталистического Запада *против* Союза Сов. Соц. Республик. И рядом с воинственными заявлениями большевицкого министра обороны, Ворошилова, слышатся и другие голоса, неуверенные, мы сказали бы испуганные, и как бы стремящиеся к *действительной* обороне страны, хотя бы и под предлогом защиты не России, а СССР.

Иногда же, в периоды особо острых осложнений во внешней политике, как в настоящее время — после разрыва англо-советских дипломатических отношений, — тон большевицкой прессы делается просто панически испуганным. Правда, паника легко сменяется бахвальством, но все же от прежней воинственности — от «штыками прощупаем Польшу», «напоим коней в Рейне» — не осталось и следа.

И как правило: — в такие моменты на страницах «зарубежной», монархической и фашистской, прессы появляются в свою очередь «достоверные» сведения о возможности, вероятности и безконечные статьи о *необходимости* войны капиталистического Запада против «большевицкой России», чередующиеся с мольбами, обращенными к правительствам различных государств, о возможно быстрейшем открытии военных действий и с предложениями военных услуг «русского зарубежья».

Мы не намерены в настоящей статье заниматься рассмотрением вопроса — насколько искренни страхи большевицкой прессы, в чем причины периодического оживления военной паники у советских громовержцев и какую роль играет во внутривнутрипартийной большевицкой борьбе так подчас убедительно рисуемая «Известиями» и «Правдой» угроза неминуемой войны. Еще менее нас интересуют мотивы кампании монархическо-фашистской «зарубежной» прессы и причины ее периодических восторгов перед вотот «готовой», по их словам, вспыхнуть войной против СССР.

Наше внимание привлекают *коренные* вопросы:

- 1) Исключена ли возможность войны с СССР.
- 2) Каковы могут быть ее результаты с точки зрения *русского*?
- 3) Какую линию поведения диктует эта точка зрения *русского*?

**

Мы намеренно поставили первый вопрос не в той форме, в какой он ставится в советской и в «зарубежной» прессе. В большевицких и черносотенных изданиях самая форма вопроса предопределяет обязательно утвердительный ответ. А та страстная агитационно-пропагандистская деятельность, которая основывается на предопределенном таким образом ответе, и разнообразные мотивы (большею частью, не имеющие ничего общего с существом вопроса) этой агитации, совершенно заглушевают вопрос. В ответ на чересчур настойчивые пророчества советской прессы о чуть ли не завтра начинающейся войне с Англией, естественным является, как это и сделала... московская оппозиция, разоблачение подобных слишком категорических утверждений. Желание Сталина запугать партию призраком немедленной войны и убедить ее, что в момент такой опасности необходимо прекращение оппозиции во имя обороны «социалистического отечества», — было очевидным.

С другой стороны, не менее очевидны и мотивы, толкающие «зарубежную» прессу седьмой год обещать своим, начинающим терять терпение, читателям поход на «матушку Москву».

И так же естественно желание противодействия этой глупой, изменнической кампании. И в том, и в другом случае приувеличение, как это всегда случается в политике, вызывает преувеличение же обратного характера. В ответ на заявления, что России грозит немедленная война, раздаются уверения, что все это ложь и выдумки, и что никто ничего против России не предпринимает. Больше всех, конечно, на этом настаивает Чемберлен.

*
**

Вопрос о том, — исключена ли возможность войны против России? — в значительной мере является частью вопроса: — исключена ли возможность войны в Европе? Война с Японией, конечно, возможна и вне влияния западно-европейской обстановки, но возможность той войны, которую большевики пугают русское население, а черносотенцы обнадеживают «зарубежников», конечно, зависит от той или иной эволюции Европы. А в Европе в этом отношении далеко не все благополучно.

Еще не так давно вопрос о возможности какой бы то ни было серьезной войны казался предрешенным на долгие, долгие (если не на-веки) годы. Еще не были изжиты ужасы мирового столкновения, еще в развалинах лежали на огромных пространствах города и села, еще не замолк гром революций, опрокинувших три великие империи, и самая мысль о войне была чудовищной и невероятной.

Из рядов социалистических партий, разом ставших весьма влиятельными во всех странах Западной Европы, с особой силой звучал голос мира. Но и буржуазный пацифизм нашел могущественного выразителя в лице Вильсона. Из встреч этих двух стремлений к миру и родилась Лига Наций. Лига Наций — детище неустойчивого равновесия между борющимися силами — социализма и буржуазии, — она лишь форма, содержание которой определяется реальными соотношениями этих сил во входящих в Лигу государствах. В первые после-военные годы их соотношение и настроения буржуазии были таковы, что при всем своем несовершенстве, Лига Наций могла казаться неким оплотом мира, действительно, опирающимся как на волю к миру народных масс, так и на всеобщий неизжитый ужас перед войной.

Но достаточно бросить беглый взгляд на истекшие девять лет, чтобы увидеть, что и в годы наибольшего расцвета Лиги Наций, совпадавшего с усилением значения во входящих в нее государствах социалистических и радикальных буржуазных партий, и в годы, когда еще не отзвучали в ушах народов ни громы великой войны, ни призывы Вильсона, ни манифесты грандиозных революций, *война жила*.

Менялись ее очаги, но она загоралась то там, то здесь, не прекращаясь ни на минуту. Еще заседала Версальская Конференция, а между РСФСР и окраинами уже шли войны, в которых окраинам помогали и союзники и немцы. Затем вспыхнули войны между закавказскими республиками, прекратившиеся после вторжения на их территорию Турции и завоевания их РСФСР. В средней Европе коммунистическая Венгрия двинулась на Чехословакию и, в результате вмешательства соседей и великих держав, получила в диктаторы адмирала Хорти. А там начались войны сравнительно большого размаха, — безумное выступление по приказу Англии, Греции против Турции, война Польши против РСФСР, и затянувшаяся на несколько лет война Испании с Рифом, война с тем же Рифом Франции и ее же война с Друзами в Сирии.

Мы не говорим уже о войнах полугражданского характера в Средней Азии, в Малой Азии, в Месопотамии, в Персии, в Китае, и т. д., и т. д.

Гораздо важнее то, что Центр мирового равновесия — Западная Европа — был окружен очагами войн. Моментами только чудо, казалось, может остановить наступление войны на этот центр и спасти мир от нового гигантского взрыва.

И опять таки достаточно самого беглого взгляда на историю этих войн, чтобы увидеть, что не организованная воля сознательного, стремящегося к миру человечества, было причиной этого чуда, не Лига Наций, а физическая сила отдельных государств. Окажись РСФСР сильнее легкомысленно и преступно затеявшей войну Польши, и Европа была бы охвачена новым пожаром.

Но, как ни опасны были эти войны, заживавшиеся у самого Центра, народы Западной Европы продолжали жить с иллюзией прочно укрепившейся эпохи «демократического мира». То, что происходило, если так можно выразиться, «на окраинах» этого центрального скопления западно-европейских народов, казалось, или последними замирающими проявлениями истощенного недуга, или гражданской войной — явлением иного порядка.

К. Р. Кочаровский в статье, помещаемой в этой же книжке «Воли России», в главе «Международные отношения и международный мир», весьма ярко и вышукло излагает причины одно время почти всеобщей веры в чудесное отрезвление народов и в установление долгого (а, быть может, и вечного) мира. Но, если в *перспективном* плане его выводы правильны, если в ходе развития мировой цивилизации место, отводимое войне, будет неизбежно уменьшаться, то, с другой стороны, в *настоящий* момент и в Западной Европе, и в других частях света накопилось такое количество взрывчатого материала, и так мало-по-малу ослабела воля многих руководителей государств (и поддерживающих их

группировок) к сохранению мира, что естественно самое недоверчивое отношение ко всякого рода заявлениям о непоколебимости мира в ближайший период.

Верно то, что война, не убитая одним ударом, *сосуществующая* с Лигой Наций, дающая *победы* одним, *ревани* другим, вовлекающая в свой порочный круг и побежденных, и победителей, и тех, кто не принимал участия в Великой войне, устраиваемая и миротворцами, *заседающими в Лиге Наций*, и *большевическими* переустроителями человечества, продолжает оставаться страшным ядом, отравляющим сознание значительных человеческих масс.

Как бы ее ни звали — усмирительная ли война против оставших «туземцев», защита ли интересов в Китае, революционная ли война под флагом освободительного коммунизма, — факт остается фактом: — *войну не убили миллионы трупов*, и она, перебрасываясь с места на место, стала во-истину «бытовым явлением». И печальным парадоксом при ее наличии является вера в то, что военные столкновения, разыгрывающиеся зачастую при благожелательном участии *официальных миротворцев*, почему то обязательно всякий раз будут разрешаться (победой и поражением), не докатившись до рокового Центра, Западной Европы.

Она является тем более наивной, что ужас перед «всеобщим столкновением» в сегодняшней Европе вовсе не представляет собой того безусловного противоядия, каким он был (или казался) в глазах многих еще недавно.



За последние годы политическая физиономия Западной Европы подверглась решительному изменению. Неустойчивое равновесие между социалистическими и буржуазными партиями нарушено в пользу последних. Правда, несмотря на это изменение, *сила социалистов в Европе огромна*. Правда, социалисты в ряде государств не только не уступили своих позиций, но окончательно закрепили их за собой и выросли количественно и качественно. За то в ряде других стран они, пусть временно, но разбиты. Еще более важным, с точки зрения возможности войны, является то обстоятельство, что ряд буржуазных партий, сотрудничавших в деле сохранения мира с социалистами, или подвергся коренному перерождению, или оказался отесненным на задний план их националистическими, правыми соперниками.

В Англии социалисты *усилились*, но полный провал либералов дал в вопросах европейской, и отчасти мировой, политики решающий голос консерваторам. В Германии социалисты, несмотря на все усилия коммунистов, *сохранили* позиции, но буржуазия передвинулась вправо, и вместе с маршалом Гинденбургом, заменившем умершего социал-демократа Эберта, к власти пришли

и националисты. Во Франции одновременно с укреплением социалистических позиций (опять таки вопреки коммунистической «работе») радикальная партия откатнулась к националистическому крылу. Надо надеяться, временно. В Италии социалисты и радикальная буржуазия разбиты.

Но что является самым опасным для сохранения мира — это размножение диктатур.

В 1918 году существовала только одна диктатура — большевиков в России. С тех пор появились удачные подражатели. Сейчас мы насчитываем в Европе диктатуры: Сталина, адмирала Хорти, Мустафы-Кемала, Бенито Муссолини, царя Бориса болгарского, Ахмед-Зогу албанского, Примо-дэ-Ривера, Пилсудского, Вольдемараса литовского, ген. Кремону португальского, не говоря уже о режимах, вроде румынского и других, где неясна черта, отделяющая их от диктатуры. Достаточно указать, что диктатурами и полу-диктатурами «управляется» около трехсот миллионов человек (считая Турцию и Россию европейскими державами), тогда как вполне демократическое управление распространяется в Европе на двести, приблизительно, миллионов человек.

Все эти диктатуры ненавидят демократию, «демократический мир», все они пришли к власти (за исключением, быть может, португальской) с лозунгами реванша, передвижения границ, военных побед. Все они развивают бешеную пропаганду в этом направлении и, будучи враждебны большинству своих управляемых палкою подданных, должны направлять энергию страны за ее границы. Пример сравнительной устойчивости этих диктатур оказывает развращающее влияние на психологию самых разнообразных кругов населения, видящих, по пословице «клин клином вышибай» в своей «национальной» диктатуре, или в так называемой «крепкой власти», наиболее действительное противодействие враждебной диктатуре другого государства. Происходит сдвиг буржуазии в сторону «крепкой власти», тем более, что она является отличным средством классового господства.

Точнее говоря, мир в Европе в настоящий момент зависит от соотношения демократических сил в трех государствах: Франции, Англии, Германии. Премии мира Нобеля, братски разделенные между Брином, Чемберленом и Штреземаном, по существу даны народам, сумевшим сохранить демократическое управление, и тем, и *только* тем удержать Европу от новых авантур.

Но большая опасность для дела сохранения мира и заключается в том, что в Англии и в Германии произошел, хотя и в рамках демократии, сильный сдвиг вправо. И, главным образом, в Англии.

Мы не станем здесь углубляться в рассмотрение причин, диктующих английскому консервативному правительству политику поддержки решительно всех реакционных сил Европы. Скажем

только, что консерваторы в недобрый час затеяли недобрую игру. Увлеченные на этот путь характерными особенностями их внутренней и внешней политики, они крепкой и щедрой рукой поддерживали ряд диктатур. На ловца и зверь бежит. Наталкиваясь на сопротивление в собственных странах, диктатуры принуждены стремиться к поддержке извне и, в большинстве случаев, попадать в положение агентов чуждой диктатуры, или чуждой реакции.

Что и случилось с диктатурами итальянской, венгерской, болгарской и албанской. Поддерживая взаимно друг друга, они все, как спутники вокруг солнца, вращаются вокруг консервативного правительства Англии. Тот же процесс намечается и на восточных границах Западной Европы, где начинают возникать и, как утверждают, не без морального участия все тех же английских консерваторов, диктатуры.

Венгерские фальшивомонетки и «пробуждающиеся мадьяры», македонские разбойники, итальянские фашисты — какие неотчетливые банды, — получили поддержку мощной Великобритании! Какой пышный кортеж составили они замонархическому «мироворцу», сэру Чемберлену, в Лиге Наций... И как изменился моральный облик этого молодого учреждения, когда в узких комнатухах женевского отеля «Виктория», служащих ему «кудуарами», свободно, как у себя дома, загуляли с высоко задранной головой, представители самых отвратительных банд, козыряющие на каждом шагу «дружбой с Англией»...

И английское консервативное правительство рискует сделаться пленником в затеянной им игре. Во время итало-греческого конфликта оно смогло остановить зарвавшегося Муссолини. Но большой вопрос — окажется ли оно в силах вновь обуздать с упорством рвущегося не то в Наполеоны, не то в Цезари, римского Дуче и солидарную с ним кучку второстепенных диктаторов? Эти диктаторы могут быть до поры до времени орудием в руках английских консерваторов, но только до поры до времени. Из-за «благодарности» за поддержку они не могут изменить законов собственного развития. Поставив свою ставку на карту реванша, войны, расширения границ, многие из них не могут не идти роковым путем. Или падение в бездну революции, или военная авантюра, когда произойдет необходимое «накопление» сил. И в решительный час никакие окрики консервативных покровителей не остановят не имеющих другого выбора и ни перед кем не ответственных диктаторов. Если для реакционного, но парламентского, правительства уход в отставку является нормальным выходом, для диктатуры падение — вопрос жизни и смерти....

Укрепив (а отчасти поспособствовав насаждению этого безобразного явления в Европе) ряд диктатур, английские консер-

ваторы сделали страшное преступление. Они вызвали духов перед которыми могут оказаться безсильными.

Этих диктаторов перспективы «всеобщего столкновения» смущают гораздо меньше, чем их предшественников. Если Примоде-Ривера просто отозвал своего представителя из Лиги Наций, то Муссолини саботирует ее изо всех своих сил, открыто заявляет о необходимости «эластичных границ», предсказывает желательное ему всеобщее столкновение к 1935 году, и грубо ведет дело в войне с Югославией. Мелкие диктаторы используют английское влияние во всевозможных направлениях, компрометируют сколько могут идею мира, и в тревожном состоянии Европы видят тот хаос, в котором легче всего удержаться организованной банде.

Поправление буржуазии, размножение и укрепление диктатур, фактически непрекращающиеся войны — создали состояние крайней неуверенности и тревоги. Когда осенью прошлого года и в начале этого итальянского диктатура бросила вызов Югославии в виде Тиранского Договора (с Албанией) и фактического превращения Албании в плацдарм, обращенный против Югославии, у многих политических деятелей Европы сформировалась уверенность в неизбежности войны. Но никому и в голову не пришло требовать передачи рассмотрения конфликта в Лигу Наций, так окреп поддержанный английскими консерваторами Муссолини. И Европа живет в страхе весьма вероятного столкновения, при чем единственной гарантией мира, по словам одного действительно замечательного дипломата является надежда на то, что в ближайший срок Югославия успеет в свою очередь вооружиться настолько, что диктатору придется отказаться от авантюры.... А по словам фашистской прессы, благоразумие требует от Европы отнестись к столкновению Италии с Югославией, как к колониальной войне и не впутываться в нее, предоставив Италии «локализацию» этого конфликта...

И те политические, государственные деятели, которые в начале эры «демократического мира» на вопросы о возможности крупной войны отвечали решительным отрицанием, теперь ограничиваются выражением надежды на то, что «в ближайшее время» война не вспыхнет и что совершится желательный перелом в сторону мира.

Конечно, подобное положение не вечно. Бой за мир ведется отчаянный. И достаточно, например, английской оппозиции одержать победу на ближайших выборах, как начнется немедленное освежение черезчур сгущенной политической европейской атмосферы.

Но тем не менее в настоящий момент на вопрос — исключены ли возможность войны в ближайшие годы в Западной Ев-

ропе? — вряд ли кто либо мог бы дать по совести категорически отрицательный ответ.

Бешенный рост вооружений, новые мобилизационные законы и провалы, начиная с Женевского Протокола, всех действительных проектов разоружения являются характерными показателями той атмосферы, в которой наличие всевозможных диктатур и нарастание реваншистских настроений у значительных масс населения делают возможным повторение безумия 1914 года. Тем более, что подросло новое поколение, не бывшее в огне жестокой войны, значительно изгладились из памяти ужасы страшных четырех лет взаимостреления, и выросла уверенность в возможности с помощью головокруглительно развившейся техники быстро справиться с «менее» подготовленным, «локализованным» и «внезапно» атакованным противником.

Если не исключена возможность войны в самом чувствительном месте мира, в Западной Европе, какие специальные причины могут исключить ее для Востока Европы? *Было бы непростительной демагогией отрицать ее возможности.*

Наоборот война на восточных границах Западной Европы возможнее. И мы уже видели страшную вспышку ее во время польско-русского столкновения, когда политическая ситуация Европы была менее благоприятна для подобных авантур.

*
**

Из опыта войн, происходивших за время от прекращения великой войны до последнего дня, можно вывести два, хотя и не сформулированных открыто — это было бы слишком «цинично»! — основных правила. Лига Наций, а вместе с нею и общественное мнение, довольно спокойно взирают на войны (в которых к тому же принимают участие члены Лиги Наций), носящие местный, *локальный* характер и не грозящие «всеобщим столкновением» — «*conflagration generale*». Нападающие тоже решались на войну, обеспечив выгодную «локализацию» противника и будучи уверенными, что *война целиком разыграется на территории* противника. Если перенесение войны с русской территории на польскую было страшным и совершенно неожиданным ударом по Польше, то с другой стороны обязательность «всеобщего столкновения» в результате победы РСФСР того периода так испугала общественное мнение Европы, что генералу Вейганду было значительно облегчена его деятельность, приведшая к поражению РСФСР. Этот же страх диктовал великим державам благоразумие в моменты первой попытки Муссолини зажечь войну (бомбардировка Корфу и ультиматум Англии) и во время похода игрушечного греческого диктатора Пангалоса на диктатуру болгарскую. Из столкновения этих двух балканских диктатур

могла зажечься искра, грозная для мира *Европы*, и из Парижа и Женевы понеслись приказы о возвращении диктаторов по местам.

Ниже мы увидим, как важно при обсуждении вопроса — исключена ли возможность войны против Союза Советских Социалистических Республик? — иметь в виду эти два правила.

Мы сказали, что возможность военного столкновения еще менее исключена на восточных границах Западной Европы, чем в самой Европе. Это положение обуславливается несколькими причинами. Главные из них — собственная внешняя политика большевиков в Азии и в Европе, и русская политика Англии, Польши и Румынии.

Мы не станем подробно останавливаться на азиатской и европейской политике большевиков. «Воля России» не раз подвергала ее специальному обсуждению. Отметим только, что попытки прорваться вооруженной рукой в Европу, принести революционный коммунизм на острие штыка и коммунистической революцией взорвать капиталистический строй, кончились для большевиков полным крахом. Тогда, они решили дать бой главному оплоту капитализма в Европе, Англии, в самом чувствительном и уязвимом для нее месте — в Азии. Почти по полной аналогии с политикой царского строя (тоже пытавшегося ударить по могуществу Англии водворением России в *ИТхом* океане) большевики подчинили свою азиатскую политику основной задаче — разрушение могущества Англии. Вся, порой удачная деятельность большевицкой дипломатии, в Малой Азии, Персии, Средней Азии, и Китае преследует исключительно эту, главную цель, в конце концов превратившуюся в самоцель. Конечно, не на страницах «Воли России» можно найти проявление какой бы то ни было симпатии к владычеству англичан в Азии. Но, предпринимая борьбу в таком грандиозном масштабе против Англии, большевики поставили на карту судьбы России. Англии был нанесен ряд нешуточных ударов. Не говоря уже о Малой Азии, где поддержка Москвы в значительной степени определила торжество Мустафы-Кемала над брошенной против него англичанами Грецией, они и на подходах к Индии — в Афганистане — добились очень значительных результатов. В предверии к Китаю — в Монголии — установили свое полное владычество. В самом Китае их поддержка Куоминтангу могла бы дать огромные последствия. Но как всегда стремление к чисто партийному господству, преследование одной и той же цели — коммунистической революции путем разрушения могущества Англии — помешала им действительно поддержать национальное китайское движение до конца и толкнула на путь попытки захвата китайской революции в свои руки. В результате произошло обезсиление национального движения, распадение Куоминтанга и революционной армии. Но Англия реально почувст-

вовавшая страшную угрозу, в свою очередь перешла в резкое наступление, ознаменовавшееся разрывом дипломатических отношений, и поставила перед собою непосредственной задачей *полную изоляцию* Союза Советских Социалистических Республик.

То, что сейчас производится Англией, есть ни что иное, как проведение *изоляции* большевицкой власти (*путем изоляции России!*), изоляции экономической и моральной. Английское консервативное правительство стремится загнать большевиков в тупик, из которого для них не было бы иного выхода, кроме коренного изменения их внешней политики, заключающегося прежде всего в отказе от пропаганды и в прекращении помощи движениям направленным против Англии. И если Союз Советских Социалистических Республик, бессильный нанести удар по Англии в Европе, не без основания решил избрать главным театром борьбы Азию, где Англия сравнительно легко уязвима, английское консервативное правительство бессильное пока что нанести решительный удар большевикам в Азии, выбрало местом борьбы Европу, где не только возможно экономическое и моральное давление, но и где на восточных границах Польши, Румынии и ряда «окраинных» государств легко может быть нащупано слабое место СССР.

Кроме того, изоляция *экономическая и моральная*, преследуя цели непосредственного давления, при своем успешном осуществлении, может быть рассматриваема и как подготовка «*локализации*» возможного театра войны на случай военных действий...

От советской власти, в значительной степени, зависит какой оборот примет деятельность английской дипломатии. В настоящий момент, когда китайские события (благодаря большевизким же ошибкам) не являются для Англии такими непосредственно грозными, как несколько месяцев тому назад, английское правительство вряд-ли гонит дело к войне в *ближайшее* время. Но на восточных границах Западной Европы взрывчатого материала накопилось слишком много и малейшая провокация может сыграть роковую роль. Когда же этого потребуют обстоятельства, провокаций может быть устроено сколько угодно, и история возобновления польско-советской войны ими изобилует.

Тем более опасны эти границы, что *объективно* здесь находятся наиболее *реальные* поводы к военным конфликтам. Польша и Румыния — два государства, запятнавшие свою внешнюю политику безумными на наш взгляд аннексиями не принадлежащих им земель, входивших раньше и в русскую империю, и в российскую демократическую республику, и в РСФСР, лежат на этих границах. Румыния поступила самым вероломным образом и не только не выполнила подписанного от ее имени генералом Авереско, в Одессе 9-го марта 1918 г. с Раковским, соглашения об очищении в двухмесячный срок Бессарабии, но, добившись призна-

ния союзными державами этого вероломного захвата чужой территории, опозорила себя непрекращающимся преследованием в захваченных областях русского населения и уничтожением русской культуры. Поведение Румынии в этом вопросе можно рассматривать, как постоянную, наглую провокацию России. Не менее легкомысленно поведение польской дипломатии, забывшей весь собственный опыт под'яремного существования и заложившей Рижским миром основательную базу для всевозможных в будущем столкновений с самыми различными российскими режимами. Польша на захваченных ею территориях тоже ведет себя по отношению к русскому населению далеко не джентльменски. Польша и Румыния кроме того заключили союз, обеспечивающий их восточные границы.

Вот эти *реальные*, неблагоприятные для добрососедских отношений обстоятельства еще ухудшились за последнее время, благодаря фашистскому перевороту в Литве, установившему режим, открыто враждебный СССР, и естественно входящий одним из со- lidsных звеньев в цепь изоляции.

Нечего и говорить о том, насколько велико влияние Англии на этих уязвимых для СССР границах. И финансово и политически Англия имеет огромное влияние во всех пограничных с Россией, начиная от Балтийского моря и кончая Черным морем, государствах, а особенно в задыхающихся от лихорадочных вооружений Польше и Румынии.

Пока обстоятельства этого не будут требовать с особой силой, консервативная Англия может ограничиться давлением на СССР путем ее финансового и политического изолирования. Но, если поведение большевиков вновь представит грозную опасность для Англии, если они вновь обострят в крайней мере борьбу против нее, нет сомнений в том, что и консервативное правительство пустит в ход *все* средства, находящиеся в его распоряжении, и попытается в случае нужды оказать достаточное воздействие на Польшу и Румынию, а может быть и на других соседей. Тем более, что и Польша, и Румыния с большим страхом относятся к своей восточной соседке и их усилия в области внешней политики, сводятся, главн. обр., к обеспечению себя от нападения Союза Сов. Социалистических еспублик. Конечно, политика Германии, связанной с СССР Раппальским соглашением, не является благоприятным обстоятельством для Польши в случае вооруженного столкновения последней с СССР, но не надо забывать, что Германия уже сохраняла строжайший нейтралитет во время польско-советской войны в самые критические для польской армии моменты и в период, когда Англия не только не сочувствовала польской аванюре, но в лице лорда Керзона предостерегала Пилсудского и предлагала установление польско-русской границы по *линии польского языка*, то-есть на 200 километров восточнее те-

перешней границы. Польша и Румыния с их полудиктаторским управлением, с их боязнью перед Россией, с их ненавистью к СССР (я говорю об официальных Польше и Румынии), могут подвергнуться в случае необходимости сильному давлению Англии, и кто может поручиться за то, что они не решатся на новую авантюру, которую кроме того так легко оправдать необходимостью «предупредительной войны».....

**

Еще опаснее, быть может, эти границы, тем, что они представляют и для большевиков удобную возможность «хлопнуть дверью». Режим *изоляции* и логика развития диктатуры могут толкнуть большевиков на военную авантюру, — последнее прибежище всех диктаторских режимов. Припертые к «стёнке» внутренним экономическим кризисом, изолированные, ожидающие в свою очередь наступления «капиталистического Запада», они (если не найдут благоразумия на коренное изменение внешней политики) могут попытаться вырваться из порочного круга там, где легче всего найти оправдание своему движению. Но это как раз и есть польско-румынские границы. Движению на эти границы, легче, чем где бы то ни было, придать *национально-революционный* характер, не говоря уже о том, что с одинаковым правом можно назвать его в свою очередь «предупредительным».

Нет никакого сомнения в том, что подобные возможности *входят* в планы и англичан, и поляков, и румын. Последнее полугодие в европейской прессе (не говоря уже о польской и румынской) велась самая подозрительная кампания. Сообщались невероятные сообщения о восстаниях — особенно в Белоруссии и Украине — и о советских военных приготовлениях. Бахвальство г. г. Ворошиловых еще более разжигало эту кампанию. Но самым характерным являлось то, что в этой кампании, ведшейся газетами, поддерживающими английскую по отношению к СССР политику, огромное место отводилось заявлениям и статьям украинских сепаратистов, обещавших в точные даты отпадение Украины от СССР. «Головные атаманы» и «министры иностранных дел Украины», пребывающие в эмиграции, раскрыли фактически весь их план, и что еще более важно их сотрудничество — моральное и материальное — с возможными противниками России. Из этих вольных и невольных саморазоблачений ясна и та роль, на которую готовили себя украинские «патриоты» и место, которое ими отводилось в борьбе против России Украине. Именно Украина, имеющая общие границы и с Польшей, и с Румынией, должна была превратиться в первоначальный театр военных действий и в плацдарм против России. Одновременно такую же деятельность развили и русские «зарубежные» «патриоты», несомненно в лице

Саблина и других связанные с английскими консерваторами. Русские «зарубежники», также как и украинские сепаратисты, предлагали свои военные и иные услуги.

Всем этим легко воспламеняющимся элементам «зарубежья» не в первый раз оставаться в скандальном положении черезчур далеко забежавших вперед иностранных агентов. Но несомненно в случае возможности военного столкновения с СССР они явятся некоторым козырем в опытных руках и не следует забывать ни роли петлюровцев и врангелевцев во время польско-советской войны, ни роли русских монархических отрядов в войсках Чан-золина. Во всяком случае они представляют собою элементы, годные не только для контр-разведки и для формирования кадров «русской» и «украинской» армий, но и для образования фиктивных правительств, от имени которых можно обращаться с призывом о помощи к иностранцам, заключать договоры и т. п. и т. п.

Практика признания подобных «правительств», служащих прикрытием для иностранцев, общеизвестна. Колчак, Врангель и особенно Юденич были показательной иллюстрацией.

Во-всяком случае характерно, что твердокаменные ненавистники «малороссов», русские монархисты всех мастей, в этот раз заговорили с большей симпатией об отпадении Украины, как о первом, начальном этапе борьбы.

Теперь, очевидно, положение изменилось и прежней михорачности в английских действиях против России не замечается. Но все то, что можно было ясно увидеть в момент разрыва сношений Англии с СССР, указывает на то, что подготовлялась и «локализация» возможного театра вооруженного столкновения и выбирался самый театр с таким расчетом, чтобы эти действия разыгрались на территории СССР и имели санкцию каких то «национальных» сил.

Мы уже указывали выше, что вообще политическая атмосфера нынешней Западной Европы такова, что война поддерживаемая одним из могущественных членов Лиги Наций и более или менее «локализованная» рискует не вызвать достаточно сильного противодействия со стороны нынешних руководителей европейской политики. Тем более, что и раньше ни польское наступление на Киев, ни румынское безобразие не вызвали подобного противодействия. Правда, есть народные массы, сильное социалистическое и рабочее движение. Но, надо признать, что большевики за истекшие со времени польско-советской войны семь лет, сделали безконечно много, чтобы убить в рабочих массах Запада живой интерес ко всему тому, что происходит на территории СССР. Большевицкое вмешательство во внутренние дела рабочего движения в Европе, их открытая вражда к социализму и демократии, разложение ими социалистического и рабочего единства, презрение, ко всему тому, что составляет святая святых не формальной, а

подлинной демократии, сделали свое дело. Террор, десятый год царящий в России, наступательные войны, ведшиеся большевиками, предрасполагают эти массы к недоверию по отношению к СССР. Все эти обстоятельства являются плюсами для противников СССР и минусами для большевиков. И не зря с таким упорством ведется пропаганда освободительной от большевицкого насилия войны. И не зря в пропаганде этой принимают участие не только украинские сепаратисты, но и *социалисты* типа Жордания, заявляющего, что и Грузия готова вложиться в дело Украины, иначе говоря украинских сепаратистов, в свою очередь готовых вложиться в какое угодно дело, направленное и против СССР, и против России.

Что касается большинства западно-европейских партий, то, если у многих из них нет ярко выраженного желания каким бы то ни было образом способствовать возникновению войны против СССР, у них не может быть и столь же ярко выраженного желания противодействовать походу на большевиков.

Заканчивая первую часть нашего изложения, мы можем сделать следующий вывод: возможность войны против СССР не исключена. В *настоящий момент* опасность ее, во всяком случае, *очень ослаблена*. Причиной является оглушительный провал большевицкой политики в Китае и выжидательное вследствие этого отношение Англии к результатам проводимой ею изоляции СССР.

Но, если большевики не изменят коренным образом их внешней политики, ничто не сможет помешать этой опасности принять самые реальные очертания.

В ближайшей книжке «Воли России» мы рассмотрим каковы могут быть с точки зрения русского результаты вооруженного конфликта с СССР, о котором так горячо мечтает «зарубежная» русская пресса, и какую линию поведения диктует эта точка зрения.

(Окончание следует).

Вл. Лебедев.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛЬВА ЯКОВЛЕВИЧА ШТЕРНБЕРГА

Он ушел от нас неожиданно. Хотя здоровье его было надорвано, в нем было столько энергии, он кипел такой жаждой жизни, что мысль о его близкой смерти никому и в голову не приходила. Но дни его были сочтены, и, когда тяжкий недуг свел его в могилу, широкие массы узнали, что в лице Льва Яковлевича Россия понесла незаменимую утрату.

Лев Яковлевич скончался 14 августа на 66-ом году своей жизни.

Родившись в Житомире, в набожной еврейской семье, он с детских лет узнал глубину еврейского горя. И это горе связало его навсегда неразрывными узами с родным народом.

Подростком 14-15 лет он поклялся все силы свои посвящать борьбе за освобождение русских евреев от цепей безправия и нищеты. Но вскоре его увлекли более широкие задачи. Он был захвачен русским освободительным движением и весь отдался революционной борьбе с русским деспотизмом, применив к революционно народническому направлению.

Еще будучи гимназистом Лев Яковлевич руководил кружками молодежи, поддерживал связи с киевскими революционерами. Когда же поступил в Петербургский Университет, (в 1881г.), он сразу вошел в студенческую организацию «Народной Воли», и вскоре занял в ней видное место.

Осенью 1882 года, Лев Яковлевич был уволен из Петербургского Университета за участие в студенческих беспорядках и выслан на родину. Связь его с центральной организацией «Народной Воли» временно порвалась. Но осенью 1883 г. он уже вновь пытается возобновить свою революционную работу в Одессе.

Этот период жизни Льва Яковлевича совпал с моментом страшного разгрома партии.

Предательство Меркулова и Дегаева опустошили ее ряды. лучшие ее вожди были казнены или брошены в казематы кагоржных тюрем. Уныние и отчаяние овладело передовыми элементами русского общества... Но Лев Яковлевич не поддался общему настроению. Бодрый, полный широких планов и надежд, он стал собирать разгромленные силы партии. С неутомимой энергией он возстапавливал порванные партийные связи. Напечатанная в 1884 г. на гектографе брошюра его «Политический террор в России» произвела огромное впечатление на революционную молодежь и привела в ярость жандармов.

В сентябре 1885 г. Льву Яковлевичу вместе с несколькими старыми партийными товарищами удалось созвать с'езд в Екатеринославе, и на этом с'езде вновь был восстановлен Исполнительный Комитет партии «Народной Воли». Были устроены две тайные типографии, выпущен двойной номер (11 и 12) «Народной Воли». Автором одной из программных статей был Лев Яковлевич. Все это было дерзким вызовом царской полиции, которая была уверена, что покончила с партией навсегда.

Лев Яковлевич тогда же выдвинул вопрос о необходимости вовлечь в борьбу с царизмом широкие народные массы, так как только с их помощью самодержавный режим мог быть сокрушен окончательно.

Однако и эта попытка оживить «Народную Волю» вскоре рухнула. Благодаря предательству вся южная организация «Народной Воли» была сметена и Лев Яковлевич, как опасный террорист, был сослан на 10 лет административным порядком на о. Сахалин.

Там, в мрачной обстановке каторги Лев Яковлевич оставался верен себе. Чуткий гуманный, энергичный он оказывал всякую помощь не только товарищам, но и всем, кто к нему за помощью обращался.

Приняв участие в коллективном протесте всей политической каторги против жестокостей тюремного начальства, Лев Яковлевич был выслан из с. Александровского, первоначального своего местожительства, в кордон Вяхта. Это была ссылка в ледяную пустыню, так как кордон состоял из одной избы, затерянной в глухой Сахалинской тайге. Кроме надзирателя кордона никого. Изредка туда заглядывали охотники инородцы. Но Лев Яковлевич и в пустыне не потерял своего мужества. Там созрело у него решение заняться изучением сахалинских инородцев и решение это он выполнил, как только губернатор разрешил ему раз'езды по инородческим стойбищам.

Статья Льва Яковлевича по этнографии гиялков, напечатанные в специальных журналах еще в бытность его в ссылке, обратили на него внимание ученых специалистов и когда он по окончании срока ссылки попал усилиями В. В. Радлова в Петербург,

тот же Радлов добился назначения его хранителем этнографического музея Академии Наук.

С этого момента Лев Яковлевич вступил в ряды ученых этнографов. Вместе с В. В. Радловым он превратил старый, полухаотический музей в один из богатейших музеев в Европе.

Особенно плодотворны были его работы за последние годы. По его мысли в музее был создан специальный отдел эволюции человеческой культуры. По его же инициативе возникли этнографические курсы, которые постепенно разрастаясь и укрепляясь, превратились в этнографическое отделение географического факультета Ленинградского Университета. Безменным председателем этого отделения был сам Лев Яковлевич.

Уделяя очень много времени научной работе, Лев Яковлевич принимал также деятельное участие в общественной и политической жизни России. Его талантливые статьи на жгучие вопросы дня пользовались большим успехом.

Революция 1917 г. застала Льва Яковлевича в рядах партии соц.-револ., которую он считал преемницей и продолжательницей заветов «Народной Воли».

Революционером в лучшем смысле этого слова он остался до конца дней своих, ведя непримиримую борьбу с рутинной и ложью, как в науке, так и в жизни.

Но быть может самой ценной чертой его характера было его умение понимать чужую душу, проникать в чужие сердца. Особым каким-то чутьем он отгадывал, чем страдал, каким горем мучился тот, кто приходил к нему за советом или помощью. И для каждого у него находились слова успокоения и ободрения, каждому он по мере сил оказывал действительную помощь.

Лев Яковлевич до последней минуты верил в светлое будущее России и грядущее счастье человечества, и эта вера помогала ему с необычайной стойкостью переносить самые тяжелые удары судьбы.

Его любили все, не только друзья и близкие, но также сотрудники и что ценнее всего, та многочисленная молодежь, которой он руководил в Университете. Старик 65 лет, он своим горячим словом убеждения находил пути к сердцам тех, кто родился и вырос в совершенно иную историческую эпоху, при совершенно иной социальной и культурной обстановке.

В лице Льва Яковлевича ушел из жизни один из лучших представителей русской революционной интеллигенции семидесятых годов, истинный рыцарь чести и справедливости, который никогда не шел ни на какие сделки с совестью.

Верю, что память о нем, будет долго жить в сердцах людей.

ИНОСТРАННАЯ ЖИЗНЬ

К ГО ОВЩИНЕ СМЕРТИ ДЖИАКОМО МАТЕОТИ (ТРИ ГОДА СПУСТЯ).

Через три года после убийства он жив более чем накануне смерти. Он жив, потому что более чем когда либо, он символ, действие, которое резюмирует и освещает драму — драму всей Италии — и увековечивает память о ней и ее ужас.

Так из хроники он войдет в историю и претворится в легенду.

Один из самых молодых среди нас, он соединял в себе все лучшее, что создал, с течением лет, итальянский социализм. Он вышел из университета закончив серьезное изучение юридических и экономических наук, о котором свидетельствует толстый том, изданный им в ранней молодости. Но в науке он не видел конечной цели; она не была для него ненужным украшением цивилизованного дикарства, или средством к личной выгоде. Дитя деревни, он погружается в аграрный социализм, самый живой и естественный в такой земледельческой стране, как Италия. Сам будучи земледельцем, он организует поденщиков и крестьян против хозяев и фермеров; он изучает колониальные контракты, финансы маленьких коммун: он становится знатоком в этой области. Наука отточенная практикой, практика укрепленная теорией, выдвигают его. От коммуны он переходит к целой провинции, он входит в жизнь национальную и интернациональную. И вот он в палате депутатов. Он был одновременно депутатом, пропагандистом, автором монографий, публицистом, секретарем парламентской группы, секретарем партии. Он знал все; он подталкивал ленивых к знанию и работе. Он был в Риме и в департаментах, в городе и в деревне, как бы владея даром вездесущности. Он был в Италии и за границей, будучи нашим предста-

вителем на конференциях, на конгрессах и в бюро социалистического Интернационала. Он проповедовал, обладая высшим красноречием — красноречием примера.

Он тратил свои силы на пропаганду самую элементарную, ту, которую называют «евангельской» пропагандой, самую простую — для простых людей. И вместе с тем выполняя секретарские обязанности в парламентской группе, в партии, в Лиге социалистических общин, составлял изложение событий, самых интересных для нас, (издано отдельной книгой). Выполняя эту повседневную работу он произносил речи в палате на политические и финансовые темы, ставил в затруднение правительство и социалистов, которые должны были ему возражать. Его нельзя было застать врасплох. Для любого спора, самого неожиданного, он был подготовлен и всесторонне вооружен. Так, когда фашисты пытались неожиданно провести в Палате утверждение преступных выборов 1922 года, пока его товарищи по фракции изучали регламент и совещались о том, что предпринять, он немедленно взял слово, выступил против президиума и произнес обвинительную речь, за которую заплатил своей жизнью.

Но и к этому он был приготовлен. Он часто повторял: «не сегодня, так завтра со мной расправятся».

Он предвидел и не сомневался в этом. Он говорил об этом смеясь, потому что в этом экономисте и проповеднике, когда дело касалось его самого — было что то дерзкое и юношеское.

И так, он был одновременно — воплощением молодости и опытности, смелости и мудрости, покоя и движения, знания и красноречия, кабинетным ученым и «комми-вояжером идеала». В нем воплощалось все, что требует такая партия, как наша, все, что есть или чем должна быть пролетарская партия, все было соединено в одном уме, в одной воле, в хрупком и тонком существе, которым он был. Желание, приписываемое Нерону, чтобы весь мир имел только одну голову, для того чтобы ее можно было отрубить одним ударом, подобное желание могло избрать именно его своей мишенью. Раня его фашисты ранили сердце социалистической партии и итальянского пролетариата.

До него, сотни и тысячи были принесены в жертву, сотни и тысячи последовали за ним. Но никто не был символом, которым стал он. Ни одно убийство не вскрыло для всех, даже для самых рассеянных и апатичных, истинную душу фашизма.

Как мировая война чтобы разразиться, должна была пройти через труп гиганта Жореса, так гражданская война фашизма, должна была переступить через останки Джакомо Маттеотти.

Когда наконец, после долгих поисков его труп изувеченный и полуразложившийся был вырыт из канавы, в которой фашизм надеялся скрыть свое преступление, и когда его близкие про-

вожали его в горестной могиле в его родной деревне, тени сотен умерших следовали за его гробом.

А когда его гробница будет разбита и его останки будут перенесены в Капитолий, еще раз те же тени составят ему погребальное шествие.

Но это будет — для них и для Италии — воскресением!

Филиппо Турати.

К КИТАЙСКИМ СОБЫТИЯМ (ПРОГРАММА КУО-МИН-ТАНГА)

В виду огромного значения, которое имеет в китайских событиях партия *Куо-Мин-Танг*, или, как ее часто в европейской прессе называют, Гоминдан, небезинтересно познакомиться с ее программой в том виде, как излагает ее сама Куо-Мин-Танг, а не из сообщений явно заинтересованной европейской печати.

Предлагаемый ниже очерк является сокращенным переводом «Программы для Переустройства Китая», опубликованной Лигой Студентов, примыкающих к партии Куо-Мин-Танг в Европе. Эта программа была опубликована, как раз для того, чтобы опровергнуть пристрастные утверждения значительной части европейской печати:

«К нашему великому сожалению, — заявляет в коротеньком предисловии комитет Лиги, — в течение последних лет принципы и деятельность нашей партии были обычно плохо толкуемы и не понимаемы.

«Когда наша партия боролась против незаконных и насильнических режимов, наши политические противники рассматривали нас, как устроителей беспорядка.

«Когда наша партия настаивала на пересмотре несправедливых договоров в целях освобождения нашего несчастного народа от иностранного угнетения, империалисты представляли ее «красною».

«Когда наша партия требовала улучшения условий жизни масс, наши противники называли ее «большевицкой».

Эта «Программа» тем интереснее, что она была опубликована Лигой до разрыва, происшедшего между Нанкингом и Ханьков. —



В 1889 году произошла война с Японией, кончившаяся поражением Китая. В после-военный период зародилось революционное движение, быстро развившееся в 1900 году и достигшее высшей точки развития в дни окончательного падения монархической формы правления, в 1911-12 г.г.

Никакая революция не происходит мгновенно. Уже установление господства манчжуров над Китаем вызвало проявление возмущения *расовых* чувств. Положение осложнилось, когда был принят принцип «открытых дверей» для народов Запада, когда начался быстрый и постоянный прилив в эту страну империалистических сил, которые очень быстро, путем военных завоеваний и экономической эксплуатации привели Китай в полузависимое состояние.

Манчжурское правительство само неспособное защищаться против иностранного нападения, продолжало всеми способами проводить свою внутреннюю политику, и этим самым поощряло великие Державы к расширению их владычества.

Партия Куо-Мин-Танг, основанная покойным доктором Сун-Ят-Сеном, понимала, что без уничтожения манчжурского господства не было никакой возможности перестроить и восстановить Китай. Естественно, что она выдвинулась вперед и взяла на себя руководство революционными силами.

Конечной целью этой партии были защита народа, провозглашение Республики и установление республиканского правительства. Иначе говоря, уничтожение господства манчжурской династии вовсе не было самоцелью, а предварительным шагом к возрождению нации.

В эти новые для Китая времена, партия Куо-Мин-Танг ясно видела, какими надо идти путями. В расовом отношении она настаивала на переходе от господства одной этнической группы к равномерному участию всех групп в управлении государством; в политическом отношении абсолютизм должен был уступить место демократическому контролю, и в экономическом отношении ручное производство должно было быть заменено производством, основанным на капиталистических методах. Если бы эти подмеченные и защищаемые партией тенденции развития жизни Китая получили полное осуществление, Китай превратился бы из полузависимой страны в свободного члена семьи народов, обладающего теми же правами и привилегиями, какими обладает всякая суверенная власть. Эти тенденции очень деятельно помогли бы процессу подобного преобразования.

Но новый режим был в абсолютном противоречии с тем, на что надеялась партия Куо-Мин-Танг. Революция имела полный успех только в том смысле, что открылась возможность посте-

пенной эмансипации всех расовых групп, до того времени угнетенных. Но этим и ограничились ее завоевания.

Первой ошибкой революционного движения явился компромисс, заключенный между новыми «лидерами» и старым режимом. Это было непоправимой уступкой монархии.

Во главе старого режима стоял Юан-Ши-Кай; его непрерывно угрожавшее правительство в начале не было особенно грозным. Но это зависело от того, что революционные вожди больше всего старались избежать гражданской войны и потому, что хотели создать дисциплинированную политическую партию, сознателную и инициативную. Если бы в эти времена такая партия уже существовала, Юан-Ши-Кай был бы легко побежден. Она легко распутала бы все интриги Юан-Ши-Кая и привела бы движение к окончательной победе.

Юан-Ши-Кай был демоническим гением военной касты Севера, за ним были симпатии иностранцев; но, что хуже всего, он являлся ядром, вокруг которого группировались военные и штатские анти-революционные паразитические силы. И это такому человеку революционные китайские силы сделали уступку, с ним пошли на компромисс!

Со времени смерти Юан-Ши-Кая революционным движением был совершен целый ряд ошибок, и каждой такой ошибке сопутствовал успех военной партии, хищность и жестокость которой росли за счет безответственного населения. Невозможно было произвести никакой положительной работы. Военные, образовавшие класс, интересы которого были прямо противоположны интересам народа, все время боялись за прочность своей власти, и в результате принуждены были войти в дружеские сношения с империалистическими силами иностранных держав. Таким образом, так называемое республиканское китайское (пекинское) правительство попало целиком под влияние военных и, непрерывно развращаемое деньгами иностранных правительств, — обезпечило господство военных. Другими словами, военные использовали правительство для извлечения собственных выгод. Были сделаны крупные займы за границей для того, чтобы покрыть издержки военных, и продолжить и усилить гражданскую войну. В свою очередь, иностранные державы использовали китайскую смуту для того, чтобы под видом распределения «сфер влияния» эксплуатировать самым страшным образом Китай. С этой точки зрения, иностранные державы, конечно, повинны в китайских внутренних беспорядках, так как в стремлении избавиться от взятых на себя обязательств, они поддерживали военных. С другой стороны, гражданские войны являлись самым крупным препятствием к развитию местной промышленности; до сих пор рынок наводнен иностранными продуктами; китайский капитал даже на китайской территории не в состоянии конкуриро-

вать с иностранным капиталом. Таким образом, Китай был предан не только политически, но и экономически.

Беглый взгляд, брошенный на целую страну, позволит определить, что с момента первой ошибки, допущенной революционным движением, больше всего пострадали средние классы: мелкие предприниматели обанкротились, ремесленники всех категорий были вынуждены заняться бандитизмом и бродяжничеством, земледельцы, неспособные сохранить свою землю, были принуждены продавать ее за бесценок. Все это было причиной быстрого роста дороговизны и соответствующего роста налогов.

Нищета растет по всей стране, и нельзя утверждать, что Китай не находится накануне национального катаклизма, национальной катастрофы! В общем, за эти четырнадцать лет, в Китае не было никакого прогресса, он скорее регрессировал.... Абсолютизм военных, с одной стороны, и враждебность Держав, с другой, все время возростали и ввергли страну в положение полузависимости и порабощения.

*
**

В китайской политической жизни, кроме партии Куо-Мин-Танг, имеется ряд группировок, предлагающих свои решения стоящих на очереди проблем. Из них главные: конституционалисты, федералисты, сторонники мира, капиталисты и прокапиталисты.

Конституционалисты считают, что главное зло происходит от того, что у Китая нет конституции.

Они думают, что, если бы существовала какая-нибудь конституция, она могла бы послужить основанием для призыва к единству, и что могло бы быть избегнуто нынешнее состояние распада.

На это партия Куо-Мин-Танг отвечает серьезной критикой, указывая, что во времена Революции у Китая была конституция и, тем не менее, не получилось ничего путного. Сторонники старого режима, правители и военные сумели ее уничтожить и использовать власть, попавшую им в руки.

Подобная конституция не представляла бы собою большего, чем исписанный клочек бумаги, она не могла бы ни спасти народных прав, ни обезопасить самое себя от падений военных. До тех пор, пока сторонники старого режима и военные захватчики власти останутся на своих местах, никакая конституция не может быть установлена. Еще совсем недавно Тса-Кун захватил власть при помощи насилия и подкупа и по видимости управлял так, как если бы конституция существовала. Тогда как по существу, все, что он делал, было так же далеко от конституционности, как северный полюс далек от южного.

Таким образом, группа конституционалистов говорит только

о необходимости конституции, но не указывает тех мер, которые могли бы помочь восторжествовать подобной конституции, после того, как она была бы выработана, и сделать ее полезной.

Эта слабость и характеризует группу конституционалистов, очень мало заботящуюся обо всем, что требует метода и организации, и не имеющую мужества защищать, в случае необходимости, свою конституцию.

Для партии же Куо-Мин-Танг ясно, что действительная конституция может быть установлена только после того, как будут устранены заграничный и внутренний милитаризмы, господствующие в Китае.

Группа *федералистов* утверждает, что весь беспорядок происходит от того, что центральное правительство перегружено. По ее мнению, зло было бы излечено распределением власти между различными провинциями. Когда в каждой провинции, — говорят федералисты, — было бы установлено собственное правительство, сверх-централизации Китая был бы положен конец, и правительство не могло бы быть более источником беспорядков.

По мнению Куо-Мин-Танг, эта группа делает большую ошибку в том смысле, что она не считается с происхождением и характером теперешнего правительства. Правительство, находящееся в Пекине, не было официально признано, оно не было утверждено народным голосованием; оно больше всего — результат махинаций нескольких могущественных военачальников, при помощи происков и грубой силы завоевавших свое положение и надеющихся продолжить свое существование благодаря этим махинациям.

Так как никаких сил в распоряжении федералистов нет, то естественно усмотреть в их предложениях надежду на силу провинциальных военачальников. А это, по мнению Куо-Мин-Танга, значило бы в случае успеха: более быстрое распадение страны и полная зависимость каждой провинции от хищного военачальника. Другим последствием явилось бы всеобщее столкновение, неизбежно происшедшее бы благодаря противоречивости интересов центра и интересов провинциальных военачальников.

По мнению Куо-Мин-Танга, местное самоуправление действительно желательно и действительно очень подходит к характеру китайского народа. Но оно не может быть установлено до тех пор, пока Китай не завоеует полную независимость.

В настоящее время весь народ не свободен; можно ли надеяться, что часть его освободится? Таким образом, необходимо, чтобы борьба за самоуправление шла заодно с борьбой за национальную независимость. Не может быть свободных китайских провинций, пока не свободен сам Китай. Само собой разумеется, что у провинций есть свои собственные задачи, политические, экономические и социальные, но для их разрешения они должны

рассматриваться как части более значительной, общей для всей нации, проблемы.

Очевидно, что установление действительного самоуправления зависит от торжества революционного движения.

Что касается *сторонников мира*, то они исходят из той мысли, что постоянной гражданской войне в Китае может быть положен конец созывом, прежде всего, мирной или мирных конференций. К этой идее примкнуло много китайцев и много иностранцев.

Если бы такая конференция, — говорит Куо-Мин-Танг, — была возможна она должна была бы получить поддержку всего китайского народа. Но дело обстоит не так. И причины ясны. Ведь, теперь у власти находятся эгоистичные, друг другу завидующие и друг друга боящиеся военачальники. Разве можно ожидать мира, когда у власти стоит подобная группа? Может быть достигнуто временное мирное соглашение, но подобное соглашение ничего не обозначает, поскольку не достигнуто равновесие в распределении власти между партиями. Что же касается народа, то он вообще здесь не при чем.

Объединение военачальников вовсе не равносильно объединению страны. А народ нуждается в объединении страны. Надежда, что подобная конференция может разрешить все проблемы, иллюзорна; еще более иллюзорна надежда, что партии могут помириться на базе равновесия интересов, способствуя, таким образом, установлению мирной атмосферы. Физически невозможно в нынешнем состоянии Китая помешать одной партии присвоить себе интересы другой; кроме того, не надо забывать, что каждая партия находится во власти неограниченного количества наемных войск, которые должны получать свое жалование из продуктов войны и грабежа, и гораздо легче грабить в соседней провинции, чем в своей.

И, наконец, *капиталисты и прокапиталисты* находят необходимым вытеснить военных и бюрократию с тем, чтобы призвать к власти другую могущественную группировку: капиталистов.

Куо-Мин-Танг на это возражает тем соображением, что, если военные возбудили вражду народа, потому что они не представляют его интересов, где гарантия того, что их могут представлять капиталисты. Кроме того, военная группа обращалась за помощью к иностранным державам, и этим разбила на части страну, но где гарантии того, что и китайские капиталисты за последнее десятилетие не получали поддержки иностранных властей. Куо-Мин-Танг ничего не имеет против капиталистического правительства, как против такового, но он считает, что правительство должно возникать из воли народа, и что оно

должно представлять его интересы и работать для его благодеяния; оно не должно ограничиваться классом торговцев, или каким либо иным классом и, кроме того, будучи центральным, оно должно вполне свободно исполнять волю народа и для этого не должно зависеть от иностранного влияния.

Куо-Мин-Танг всегда держался того мнения, что действительная национальная революция, следующая «Сан-Ми-Чу-И», то-есть отвечающая трем демократическим принципам, — является единственным разрешением проблемы.

**

Принципы программы партии Куо-Мин-Танг, — знаменитые три принципа, — были долгое время защищаемы «основателем», «отцом» китайской республики Сун-Ят-Сеном. Эти три принципа изложены в Манифесте доктора Сун-Ят-Сена от 25-го ноября 1923 года и в «Китай сегодня и реорганизация Куо-Мин-Танга», — брошюре, раздававшейся во время недавней конференции.

Каковы же эти принципы?

1) *Расовая демократия или национализм.*

Принцип расовой демократии имеет у Куо-Мин-Танга два различных аспекта.

Во-первых, в подражание национальным группировкам за-границы, — это эмансипация и самоопределение китайской нации.

Во-вторых, признание всех расовых группировок нации.

а) Принцип народной демократии имеет в виду создать Китаю такое же независимое и равное положение, в каком находятся все остальные государства мира. До 1911 года Китай находился в подчинении у представителей одной расовой группы населения: Манчжуров; с другой стороны он был оплетен империалистическими силами иностранных наций; таким образом, совершенно естественно, что движение в пользу народной демократии имело в то же самое время целью освобождение страны от тяжелого ига Манчжуров и воспрепятствование угрожающему со стороны Держав ее разделу.

С 1911 года исключительный контроль Манчжуров исчез, но иностранный империализм остался.

Тревожающий топ слова «раздел» сменился более гармоничным и мягким тоном выражения «международный контроль», другими словами, военные и политические захваты были заменены чисто экономической эксплуатацией. В чем разница? Результат остается все тот же: медленное, но верное устранение Китая, как свободной и независимой нации. Военные втечения долгого вре-

мени конспирировали с иностранными империалистами в целях эксплуатации своей же собственной страны.

В результате — полная остановка развития, — вернее, распад, — национальной жизни, и политической, и экономической. С каждым днем положение делается все более и более тревожным.

Очевидно, что в конце концов, большинство народа должно сосредоточить все силы на защите жизненнейших интересов, которые могут быть обеспечены только таким сосредоточением сил.

Партия полагает, что национализм, в лучшем значении этого слова, является формой настоящего анти-империализма. Вот почему Куо-Мин-Танг стремится доказать эту истину, увеличивая свою работу, направленную в то же время и на поднятие благосостояния масс.

Куо-Мин-Танг стремится обеспечить себе симпатии и поддержку простого народа, без участия которого в борьбе невозможно освобождение нации.

б) Как мы уже видели выше, исключительно Манчжуры до 1911 года контролировали правительство. С 1911 года, после падения Манчжуров, было условлено, как это всегда имелось в виду партией, что расовые группы, образующие нацию, будут пользоваться равными правами и привилегиями.

Но, к несчастью, управление быстро перешло в руки военных, — продолжателей старого режима, и в атмосфере перереженной монархии это обещание революции не было сдержано, — в результате чего расовые группы, не участвовавшие в управлении, выявили неоднократно и резко свое недовольство.

Но еще печальнее, что невыполнение этого обещания было принято некоторыми из этих групп, как признак неискренности Куо-Мин-Танга.

С той поры для партии было необходимо все более и более добиваться благожелательного понимания со стороны расовых групп, время от времени давая им познать общность их интересов, и необходимость взаимного благожелательства. Партия Куо-Мин-Танг является теперь силой, и она, если движение расширится, будет достаточно благоразумна, чтобы вполне договориться со всеми расовыми группами в целях нахождения лучших способов разрешения разногласий.

Куо-Мин-Танг формально признает право всех расовых групп заявить их собственные мнения и, когда милитаризм и империализм будут изгнаны из страны — говорит программа Куо-Мин Танга — «мы сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы организовать (с добровольной помощью всех расовых групп) Китайскую Республику, свободную и объединенную».

2) *Демократия политическая.*

Принцип развития политической демократии, как мы его понимаем, включает в себя две фазы: первая — прямая, непосредственная; вторая — косвенная.

Под последней мы разумеем право голосования. Под первой мы понимаем право инициативы, референдума и обращения в стране. Формула, гарантирующая эти права, должна быть окончательно вписана в конституцию, которая будет основана на пяти разделениях власти: власти законодательной, судебной, исполнительной, отбора (*sélectionnement*) и процедуры.

Вышеозначенные принципы будут адекватны не только в тех случаях, когда надо будет противостоять недостаткам представительного правительства, но и когда надо будет исправлять недостатки голосования.

В то время, как в других передовых странах вышеуказанный демократический механизм часто используется исключительно в интересах имущего класса и в ущерб интересам простого народа, для которого этот демократический механизм, по видимости, был создан, механизм политической демократии, которую мы защищаем, будет находиться в полном распоряжении большинства граждан и не сможет быть монополизирован несколькими привилегированными. Одно обстоятельство должно быть отмечено. Наша демократия совершенно отлична от демократий, сложившихся на основании принципа «естественных прав человека», мы скорее стремимся развить демократическую систему для удовлетворения специальных задач периода переустройства. Таким образом, только группы лояльные по отношению к Республике, будут пользоваться вышеперечисленными правами, и излишне указывать, что у тех, кто сами продаются империалистам и милитаристам, эти права будут отняты.

3) *Экономическая демократия.*

Теория экономической демократии Куо-Мин-Танга состоит из двух частей: 1) уравнение прав на землю, 2) регламентация капитала.

Мы рассматриваем первый принцип, как существеннейший, потому что экономическое неравенство стало возможным благодаря тому, что землевладение обычно было монополизировано немногочисленным меньшинством. Отсюда вытекает императивная необходимость для государства издавать земельные законы и законы, регулирующие налоги на продукты земли.

Стоимость земель, составляющих частное владение, точно оцененная их владельцами, должна быть сообщена правительству, которое и соберет налоги, пропорциональные стоимости земель; если же это будет необходимо, — правительство возьмет на себя права собственника. В этом и заключается сущность концепции Куо-Мин-Танга о равенстве прав в землевладении.

Предприятия, находящиеся в руках китайских или иностранных граждан, и взявшие на себя операции несоразмеримые с финансовыми средствами отдельных предпринимателей, как например, банковская индустрия или индустрия вооружения, будут национализированы государством для того, чтобы экономическая жизнь нации не могла находиться под контролем нескольких капиталистов.

Осуществлением этих двух принципов экономическая демократия, можно сказать, будет поставлена в то же самое положение, как и какая нибудь коммерческая фирма. С этой точки зрения необходимо сказать еще несколько слов о земледельцах (арендаторах).

Несмотря на тот факт, что вся экономическая китайская жизнь является главным образом жизнью земледельческой, из всех классов нации больше всего страдают земледельцы (арендаторы).

Главная идея нашей партии и заключается в том, что эти земледельцы (арендаторы), не являющиеся владельцами земель, но получившие их в аренду от богатых земельных владельцев, имеют право на получение от государства за арендную плату земель, достаточных для пропитания.

Им должна быть кроме того оказана помощь в смысле орошения земель, а в случае необходимости они будут обязаны приобретать и культивировать земли в более изолированных областях страны, с тем, чтобы преждевременно не истощались более плодородные земли. Государство также откроет денежные кредитные учреждения, как например Земледельческие Банки и т. п., для того, чтобы дать помощь — деньгами и продуктами — земледельцам (арендаторам), которых неотложная нужда заставила задолжать на всю жизнь ростовщикам.

Таким образом и земледельческое население получит неотъемлемое право на радость жизни.

Несколько слов также и по адресу рабочего класса.

Так как жизнь китайских рабочих абсолютно никем и ничем не защищена, партия Куо-Мин-Танга требует, чтобы государство доставляло средства к жизни безработным и создало рабочее законодательство, имеющее целью улучшение жизни рабочих.

Программа экономической демократии включает в себя также систему всеобщего обучения, поддержки стариков, детей, боль-

ных и служащих, а также и ряд других мер, способствующих возрастанию общего благополучия.

Нищета, такая частая гостья среди земледельцев и рабочих по всей стране, является причиной большего числа беспорядков и требует немедленного настойчивого и серьезного усилия для ее уничтожения. Вот почему необходимо, чтобы в этих классах развились анти-империалистические чувства.

И, в этом не может быть никакого сомнения, движение во имя национального переустройства должно пользоваться полной поддержкой рабочих и земледельцев. С одной стороны сторонники действительного переустройства, с другой рабочие и земледельцы должны объединиться, чтобы победить общих врагов империалистов и милитаристов¹⁾.

Таким образом, сторонники действительного переустройства стремятся с одной стороны помочь народу, увеличить его экономическую мощь, а с другой стороны убедить его принять активное участие в деле переустройства страны.

Нечего и говорить о том, что задача партии Куо-Мин-Танг, предпринявшей бой против милитаристов и империалистов, должна глубоко интересоваться каждого гражданина. Говоря другими словами у партии и народных масс общий враг — милитаристы (военная каста) и империалисты. Противопоставляя народные массы этим последним, мы в то же время способствуем окончательному освобождению народа.

Резюмируя можно сказать, что земледельцы и рабочие будут жнецами той жатвы, которая созреет в результате этой борьбы против милитаризма и империализма.

Таковы три демократических принципа Куо-Мин-Танга.

*
**

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА КУО-МИН-ТАНГА

Партия Куо-Мин-Танг в хаосе современной китайской жизни считает необходимым, кроме общего изложения трех демократических принципов, сформулировать еще и конкретную программу, которую она называет своей политической программой. Она считает, что эта программа больше всего отвечает надобностям китайской нации, и что она будет поддержана всеми, кто ставит благо нации выше интересов частных лиц или классов.

¹⁾ Под названием милитаристы — в изложении Куо-Мин-Танга надо разуметь китайскую военную касту, под названием — империалисты — Державы, пользующиеся в Китае исключительными правами.

1) *Иностранная политика.*

1. Отмена всех договоров, не основанных на равенстве обеих договаривающихся сторон.

В этом порядке идей, экстерриториальность, право иностранного контроля и все политические преимущественные права иностранных наций в Китае должны быть отменены, и новые договоры, основанные на принципе взаимного признания суверенных прав должны быть заключены.

2. Все нации, которые добровольно откажутся от своих специальных вышеуказанных прав и уничтожат все договоры, нарушающие суверенность Китая, будут иметь преимущества перед остальными нациями.

3. Все другие договоры, нарушающие национальные права Китая, должны быть пересмотрены. Во время их пересмотра взаимное уважение к суверенной власти договаривающихся стран должно быть признано основным принципом.

4. Внешние китайские долги должны быть гарантируемы и выплачены в пределах политической и экономической обеспеченности.

5. Все внешние китайские долги, заключенные ответственными правительствами, как например, пекинским правительством, пришедшим к власти в октябре 1923 г., и которые не способствовали увеличению благосостояния народа, а наоборот, послужили поддержкой для продолжения гражданской войны, не являются гарантированными. Китайский народ не отвечает за выплату таких долгов.

6. Должно быть организовано особое национальное учреждение, с которым должны быть связаны все такие провинциальные профессиональные организации, как, например, торговые палаты и банковские ассоциации, в целях нахождения такого способа консолидации внешних долгов Китая, который помог бы стране выйти из того состояния полузависимости, в которое она в настоящий момент ввергнута.

2) *Внутренняя политика.*

1. Партия Куо-Мин-Танг не является сторонницей ни крайней централизации, ни крайней децентрализации. Предпочтительнее между этими крайностями среднее положение. Все, что касается *нации*, должно относиться к ведению центрального правительства; все, что касается интересов местных, входит в сферу ведения соответствующих местных правительств.

2. Народы различных провинций имеют право установить их собственные провинциальные конституции. Но само собой ра-

зумеется, что эти провинциальные конституции не должны быть в противоречии с Национальной Конституцией.

Губернаторы должны быть с одной стороны представителями правительства данной провинции, а с другой представителями центрального правительства, от которого они получают приказы в делах национальных.

3. Признание Ибсиена ²⁾, как самоуправляющейся единицы. Обитатели Ибсиена имеют право непосредственно избирать и отзывать чиновников; они имеют также права референдума и инициативы.

Налоги взимаются с земель, с увеличения стоимости земельной собственности, с продуктов обществен. земель, с доходов, происходящих от использования водных сил и лесов, с доходов с рудников и гидравлической силы — все это поступает в распоряжение местного правительства, которое должно расходовать эти средства на администрирование провинции, на поддержку учреждений, заботящихся о бедных детях, стариках, бедняках и немощных, на помощь страдающим от неурожая или других стихийных бедствий и на развитие гигиены и народного благополучия. Если финансовые возможности Ибсиена будут недостаточны для эксплуатации своих естественных богатств или для поддержания своих коммерческих и индустриальных предприятий, центральная власть окажет ему необходимое содействие. Чистые доходы будут в таком случае распределены между местным и центральным правительствами.

Каждый Ибсиен будет отчислять некоторую часть своих доходов в казначейство центрального правительства, минимум и максимум определяются в 10 и 50 процентов.

4. Отмена существующих избирательных прав, основанных на имущественном цензе, и провозглашение всеобщего избирательного права.

5. Признание свободы собраний, организаций, речи, печати, жительства, передвижения, и свободы совести.

6. Постепенное преобразование нынешней военной службы по найму в воинскую повинность. Одновременно улучшение материальных условий жизни офицеров и солдат. Требование большей специализации от офицеров. Пересмотр системы отпусков.

7. Сотрудничество с индустриальным классом. Перевоспитание бездельников и превращение их в полезных членов общества.

8. Законодательство, регулирующее курс городской и земельной ренты, и воспрепятствующее мошенничеству; уничтожение Ликина (внутренние таможи) и т. п.

²⁾ Округа.

9. Сохранение налога с земель. Поддержание обрабатываемых земель, регуляризация производства и потребления сельскохозяйственных продуктов, гарантирующая также равенство распределения и достаточность пропитания.

10. Улучшение сельскохозяйственных общин и сельской жизни.

11. Рабочее законодательство; улучшение условий жизни рабочих: защита и поддержка рабочих организаций.

12. Признание принципа равенства полов с экономической, воспитательной и социальной точек зрения и поддержка женского движения.

13. Всеобщее образование, основанное на индивидуальном принципе; реорганизация системы образования; увеличение и защита школьных фондов.

14. Земельное законодательство, законы, регулирующие использование земель, законы обложения продуктов земледелия и земельной стоимости.

Стоимость земель, принадлежащих частным собственникам, должна быть точно определена их владельцами и сообщена правительству, которое и определит налоги, пропорциональные их стоимости. В случае необходимости правительство возьмет на себя права владельца земли.

15. Все предприятия, превращающиеся в монополии или развивающиеся не в соотношении с финансовыми силами предпринимателей, как например, постройка железных дорог и морская индустрия, будут национализированы и управляемы государством.

Эта программа является *минимумом*, необходимым для платформы партии Куо-Мин-Танга, и первый шаг к спасению Китая.

**

Изложенная нами в возможно более точном (*и без каких-бы то ни было комментариев*) общая программа и платформа партии Куо-Мин-Танг не была бы полна без прощального письма основателя китайской республики покойного Сун-Ят-Сена своему народу:

«Втечении 40 лет я был занят демократическим переустройством Китая. Моей заветной целью было возвысить Китай до положения свободной и независимой нации. Опыт этих последних лет достаточно убедил меня в том, что для того, чтобы эта великая цель была достигнута, мы должны быть поддержаны народом внутри страны и завоевать благожелательное сотрудничество наций, которые договариваются с нами на основе равноправия.

Революционное движение в настоящий момент еще не победило. Совершенно необходимо, чтобы мои товарищи по работе,

стремящиеся к осуществлению моего «Плана переустройства» «Трех демократических принципах» и «Манифесте Куо-Мин-Танга», приложили все свои силы на завершение нашего общего дела. В конце концов, мы являемся сторонниками Народного Конвента и уничтожения несправедливых договоров с иностранными нациями. Будем неусыпно служить нашим принципам, для того, чтобы они могли быть реализованы в возможно кратчайшее время.

Сун-Ят-Сен».

Эта «Программа» интересна, как мы уже указали выше, тем, что она была опубликована комитетом Лиги Студентов, принадлежащих к Куо-Мин-Тангу в Европе, до разрыва, происшедшего между Куо-Мин-Тангом и коммунистическим крылом национального китайского движения. В следующей книжке «Воле России» мы дадим другой весьма интересный документ — объяснение Кантонского Куо-Мин-Танга: — почему Куо-Мин-Танг принужден был порвать с коммунистами?

В. Р.

СЛАВЯНСКИЙ ОБЗОР

СОВРЕМЕННАЯ ЧЕШСКАЯ ПОЭЗИЯ ¹⁾

В конце прошлого столетия в чешской культурной жизни произошел основной переворот. Та просветительно-национальная роль, которую получила литература в эпоху чешского возрождения, т. е. в половине 18-го столетия, превратилась понемногу в опасность, грозящую ее развитию. Воспитательная и патриотическая тенденции начали приобретать перевес над художественными и общечеловеческими вопросами и заключили искусство в слишком узкий круг. Против этой опасности повело борьбу молодое поколение поэтов и критиков, известное в широких кругах под именем *девяностидесятников*. Молодые писатели, воспитанные на европейской критике и на чтение мировой, как классической, так и современной литературы чрезвычайно тяжело переносили отчужденность от могучих потоков европейского мышления, проявляющуюся в большинстве тогдашних чешских произведений. «Откройте окно в Европу» — вот лозунг, в котором была сосредоточена вся идеологическая программа молодого поколения. Бурная и несправедливая, как всякая реакция, она выдвигала свое космополитическое знамя гораздо резче, чем чувствовала сама, а в насильственном пересаживании чужих мыслей и идей на неподготовленную чешскую почву заходила дальше, чем это было полезно для развития литературы.

Было бы чрезвычайно затруднительно разделить поколение 90-х годов по программам литературных направлений. Это было

¹⁾ Автор этой статьи д-р М. Рутте не только знающий и серьезный литературный и театральный критик, но и поэт лирик, принадлежащий к тому же поколению, что и О. Фишер.

Н. П. (Прим. переводчика).

время могучего брожения молодых сил, усиленных исканий и борений, время, когда большинство личностей постоянно изменяло и развивало свой внутренний мир. Отдельные литературные направления, особенно в начале движения, часто переплетались, смешивались и оплодотворяли друг друга. В эту эпоху, когда индивидуализм достиг неожиданного и непредвиденного развития и когда одновременно начали появляться первые признаки его разложения, можно скорее говорить об отдельных личностях, чем о направлениях в школах.

Все же наиболее значительным из этих течений было декадентство, отличавшееся, главным образом, западной ориентацией, отталкиванием от натурализма, культом прекрасно выграненного слова и чрезмерной, болезненной чувствительностью. Руководящим поэтом чешского декаданса был *Иржи Карасек из Львовны*, который от внешнего мира все дальше и дальше убегал в царство грез и фантазий. У фантазии Карасека два полюса, в его душе все время звучит двойной тон — католичество и античное язычество, грешное наслаждение и лирическая тоска о суетности мира.

Рядом с Карасеком должен быть поставлен другой декадентский поэт *Карел Главачек*, в его серебрянных и сдержанных звуках, так рано прерванных смертью, звучала жадная тоска неизжитой молодости, гордое обвинение судьбы и слабость голодного. Теоретическим толкователем чешского декаданса был *Арношт Прохазка*.

Наряду с Карасеком, заслугой которого является то, что он воспитывал в Чехии понимание сложности душевных переживаний и всевозможных их оттенков, благодаря чему и язык стал более гибким и образным, наиболее ярко развился реализм, опиравшийся на новейшие биологические и социологические исследования, а также и на философию позитивизма. Реализм 90-х годов агрессивно выступает против окостеневшей традиции, выдвигает требование космополитизма и безжалостного критицизма, а позднее склоняется все более и более в сторону морального реформаторства и прогрессивной программы. В начала 90-х годов, когда прямолинейная критика была лейт-мотивом целого поколения, обновленный реализм боролся бок о бок с остальными художественными течениями, но по мере своего развития он стал сознательной реакцией против декаданса, романтизма и символизма, отвергал все, что таинственно и загробно, и смотрел на жизнь прежде всего холодными глазами разума. Его идеалом стала поэзия, являющаяся моральной критикой фактов. Вождем реализма в обширном философском значении был *Т. Г. Масарик*, а поэтом *Я. С. Мазар*.

Кроме декаданса и реализма 90-ые года принесли еще то, в

чем выявились относительность и скепсис: импрессионизм, родившийся из столкновения тела и души, сердца и разума. Скептицизм и чувственность — вот два голоса, которыми чаще всего говорит с нами поэзия в эпоху перелома, когда поэты искали утешения от роковых вопросов в цветном мелькании мигнов и в хрупкой связи тела и мира. Импрессионистический период можно найти у всех поэтов 90-х годов, однако, его развитие отразилось наиболее ярко в творчестве *Антонина Собы* и *Франи Шрамка*.

Наконец, у большинства поэтов конца прошлого столетия мы найдем сильно развитую социальную и революционную струю. Борьба против художественной и общественной условности, которой началось их первоначальное выступление, привело их позднее к критике экономического строя общества. Заостренный индивидуализм многих привел к анархизму (*Нейман*, *Шрамак*, *Томан*, *Гельнер*). Во имя свободы часто восставали не только против отечества, но и против всякой государственной формы, которая принуждает отдельные личности признавать ее организацию.

На вершине этой социальной поэзии стоит *Петр Безруч*. В своих варварски жестоких и человечески пламенных стихах он кричит о голоде, нужде и национальном и человеческом унижении углекопов в Силезии. Это мрачный пророк, и голос его обладает грозовой силой. *Петр Безруч*, в поэзии которого объединяются национальные и социальные ноты, является основателем социальной коллективной поэзии и от него идет прямой путь к современным социалистическим и коммунистическим поэтам. На рубеже столетий рядом с *Безручем* подымается еще одна пророческая личность, которая скоро созревает и начинает указывать и остальным путь и вечность — я подразумеваю. *Отокара Бржезину*. Его пять поэтических книг составляют пять действий могучей трагедии души, которая рвется из тюрьмы материи и тела к свободе мышления и любви, чтобы снова родиться в сердце миллионов. Поэзия *Бржезины* это космическое видение жизни и смерти, это героическая мечта о величественном единстве всего живого и неудержимом движении развития. Близкий поэзии *Верхарна* и *В. Уйтмана*, он является первым светочем, появившимся на перевале двух столетий, и указывающим человеку путь от эгоистического индивидуализма к коллективному переживанию мира.

Поэзия 90-х годов, унаследовавшая от романтизма мировую скорбь, а от натурализма стремление к голой неприкрашенной правде, тесно связана с жизнью, которая волнует и питает ее своими надеждами и верованиями. Голод, социальная нужда, политика, анархическое антимилитаристическое движения были для тогдашних поэтов средством изображения мелодий собственного сердца. Жизнь никогда не превращалась для них в формулу, они никогда не бывали вне ее: творить поэзию для них означало

прежде всего жить, жить полно и абсолютно, В этом интенсивном участии в жизни и заключается основная ценность поэзии 90-х годов, ибо многие из поэтов, шедшие от скептицизма к вере, от мечтаний к действительности, от субъективности к человеческому единению и от отрицания к действительной любви, стали вождями в борьбе за современную поэзию, которая во многих отношениях является ничем иным, как завершением их собственной борьбы.

Приблизительно в 1910 году в поэзии начинается сильное движение против романтизма, декадентства, с одной стороны, и против реализма, с другой. Эта борьба велась как за новый сюжет, так и за новый стих. Окостеневшая метрика, в которую вылилась после своих революционных попыток декадентская поэзия и ее условный словарь уже поэтически не удовлетворяли и поэта, который стремился непосредственно сговориться с действительностью и сделать снова слово посредником между человеком и миром. Новое течение требует от поэта, чтобы он жил и рос со своей эпохой, чтобы он выражал ее сложную и яркую красоту, но прежде всего любил живого, страдающего и борющегося человека. В противовес реализму, который лишал вещи и факты жизненного единства, новое движение выдвигает требование переживания действительности и динамического восприятия жизненного действия. Против романтизма и его культа обостренной красоты новые поэты выдвигают поэзию буден, техники и цивилизации. Декадентскому аристократизму они противопоставляют простоту, гражданственность и массовое чувство, одиночеству и идеалистической мировой скорби — чувственную радость и веру в жизнь. Итак, в начале борьбы за новую поэзию мы различаем следующие направления: *сенсуализм*, который вырос из внутренних противоречий поколения девяностых и который хочет добыть новое познание мира в напряженном чувственном восприятии, лишенном каких бы то ни было головных размышлений. *Витализм*, который в начале соответствует во многом сенсуалистической поэзии, направляет свои стрелы, прежде всего, против пессимизма и бегства от действительности. Он проповедывает, что отдельные явления, радости и болезни являются не случайными фактами, а проявлениями единой мировой души, которая находится в состоянии вечного развития. *Поэзия динамическая* подчеркивает в духе новой философии принцип движения и действия и требует от поэта, чтобы он воспринимал жизнь, как непрерывно восходящее действие, в котором играют одинаковую роль и внешний мир и человеческая душа. Этот род поэзии любит больше всего агрессивный и широко развитый стих, ритмическое восхождение и непрерывное движение понятий. *Поэзия цивилизации* борется прежде всего с абстракциями и метафизикой и проповеда-

вает страстный поворот к действительности и будням. Она воспевает движение вперед, любит точность и организацию, восторгается самой природой машин и пишет о преоборении пространства и времени.

Если эти художественные направления ищут прежде всего выход из дуализма тела и души, то *коллективная поэзия* наоборот направляет всю свою силу против индивидуализма в его узкой и центробежной форме. Поэт коллективист переживает сам себя в толпе, он чувствует себя неотделимой частью целого, воспекает братство наивысших радостей и страданий и неразрывное единство всей жизни. После мировой войны эта поэзия превращается в *социальную и коммунистическую поэзию*, присоединившую к своим лозунгам и требования революционной тенденции и классовой борьбы. Она требует от поэта, чтобы он подчинил свою творческую свободу социальным догматам и сделался сознательным пропагандистом коммунистических лозунгов. Вполне понятно, что на все эти изменения имели также влияние различные мировые литературные течения — прежде всего поэзия Уитмана и Верхарна, позднее итальянский футуризм, унонизм, Аполлинер, Ромен, Дюгамель, Вильдрак и многие иные. Главными вождями в этой поэтической борьбе являются три чешских поэта: *Станислав К. Нейман, Франя Шражек и Отокар Тэр*.

Художественный путь С. К. Неймана пестр и сложен: от индивидуалистического анархизма, который в его первых книгах обладал значительным количеством декадентских элементов, он достигает в книге «Мечты о толпе отчаявшихся» (*Sen o zastupu zoufajících*) сильных социально-революционных тонов, причем здесь же впервые он вдохновляется большим городом. В «Книге лесов, рек и холмов» (*Kniha lesů, vod a strání*) побеждает языческий мотив природы, гимн телу, чувственному и ласковому строению и простому животному бытию. В этой книге, которая во многом приближается к натурфилософии, у поэта впервые проскальзывает стремление к палящему чувственному восприятию мира и динамическому толкованию действительности, позднее эти чувства находят наиболее совершенное выражение в его «Новых песнях» (*Nový zpěv*), этих гимнах цивилизации, воспевающих XX-ое столетие. Нейман любит жизнь en masse. Он непрерывно осязает себя сознанием, что каждую секунду в мире созревает безконечное количество событий и преисполняется благодарным восхищением перед тем, что и он одна из молекул этой гигантской химии. Главная заслуга Неймана в том, что он освобождает слова и включает их прямо в бродящий организм жизни. Он слушает, что говорят травы, дождь, насекомые и поля, но также и то, что говорят фабрики, удары молота и беспокойный шум города, этим он возрождает свой язык и придает ему горя-

чую пульсацию современности. Его стихи, которые в первых книгах были апофеозом материи и языческой природы, окрашиваются в «Новых песнях» могучим пафосом социальной и городской поэзии, которая воспеваает машины, технику, цирк, город и революционные демонстрации. Нейман в своем стихе борец, его уподобления это непрерывное нападение на мир, его красочность бывает часто даже варварской. В последнее время, когда он стал глашатаем коммунизма, в его стихах тенденциозный пропагандист побеждает поэта. Влияние Неймана на молодую чешскую поэзию было довольно значительно: он учил молодое поколение страстному сенсуализму и чистому языку, который победил окаменевший слварь академической поэзии.

Франя Шрамек стал учителем и вождем тех, кто старались через чувственность добраться до нового одухотворения действительности и стремились к новому пониманию поэзии, которое было бы лучше всего назвать мистическим реализмом. Трогательная и горячая чувственность, которая перебрасывает мост над пропастью разбитого сердца, вот в чем заключается главная сила поэзии Шрамка, который объединяет простую напевность народной песни с импрессионистической импровизацией. Шрамек — эротический песимист, почти все его творчество построено на двухпланности действительности и мечты, причем юношеские стремления разбиваются о грубую действительность. Через всю его поэзию проходит непрерывный и переменный ток чувственности, переходящий в грусть и из грусти переливающейся в чувственность, именно этот ток часто возводит его поэзию до степени хрупкой и трогательной духовности и наполняет его слова легкой игривостью и радужным ароматом земли.

Если С. К. Нейман стремился добиться динамического напряжения стиха при помощи непосредственной импровизации, то наоборот целью *Отокара Тэра* было точное и законное построение, основанное на логическом пафосе слова, воли и интеллекта. Его поэзия — непрерывная борьба. Он борется со словами, с мыслями, с миром и с собственной судьбой и не знает никогда любовной утехы. В сборнике «Против всех (Vsem na vzdor)», изданном во время войны, его ритм тверд, а стих переходит прямо в приказание. Его драматическая поэма «Фэтон», которой заканчивается его творчество, столь преждевременно прерванное смертью, ничто иное как гимн протесту и воле. Отокар Тэр был одним из главных инициаторов «Альманаха на 1914 г.», в котором впервые выступило со своей программой молодое поэтическое поколение, борющееся за вольный стих.

Мировая война наложила свой отпечаток на все это движение. В трагический момент, когда решалась судьба чешского народа, чешские поэты почувствовали с новой силой, что их мис-

сия заключается прежде всего в том, чтобы верить за сомневающимися и быть живой совестью народа. И так во второй раз, хотя и в новой форме, чешским поэтам выпала роль «будителей». Однако, на этот раз они могли выполнить ее не только в моральном отношении, как в начале чешской поэзии, но и в художественном отношении, так как у чешской поэзии в данный момент было уже за собой целое столетие развития, а ее средства выражения и круг мышления были на уровне крупных европейских литератур. Чешский дух, который обращается к читателям через поэзию этой эпохи, уже не является тем патетическим патриотизмом, против которого восстала скептическая критика 90-х годов. Нет, это могучий голос сердца и страстное доказательство собственной человечности. Этому углублению чешской поэзии способствовала та политическая атмосфера, под давлением которой она тогда оказалась. Поэт, которому постоянно грозила цензура, тюрьма и военно-полевой суд, должен был приглушать свой голос и вознаграждать страстностью то, что у него отнимали в отношении свободы. Его речь стала более серьезной и строгой благодаря тому страданию, что было вокруг, а его песня в тяжкую годину обращается прежде всего к человеку. В этом отношении война ускорила тот процесс, который начался в чешской поэзии еще до 1914 года, благодаря проникновению европейской философии и новых художественных направлений. Внешние ужасы вынуждали поэта выдвигать в противовес отрицательному также и нечто положительное и непрерывно искать все новые и новые доказательства, направленные против пессимизма и в пользу веры в человека и человеческого единства.

Поэтами, которые лучше всех услышали ритм чешской души во время войны, нужно считать *Виктора Дика, Я. С. Махара, Карла Томана и Антонина Сову*.

Виктор Дик это типичный поэт того периода развала, который был в конце прошлого столетия; в глубине души он романтик, никогда не перестававший тосковать по абсолюту, но разумом он скептик, который никогда не мог поверить в абсолют. Война, открывшая возможность пасть или победить, освободила его от этой мучительной раздвоенности и дала ему веру бойца, который понял, что недостаточно смотреть на жизнь с насмешкой, но что необходимо твердить ее покорным сердцем. Этот внутренний переворот достигает вершины в четырех томах его военной лирики, которые представляют редкостную картину духовной жизни в том виде, как она создавалась у чешского человека в течение четырех лет войны. Страх и молчаливый протест, вера и сомнения, мучительное ожидание, ирония и слезы — все эти составные черты чешского страдания собраны в военной поэзии Дика, которая говорит с читателем мучительно прекрасным язы-

ком, освобожденным от всего мелкого и преходящего. Прекраснейшим из этого цикла является сборник «Окно» (Okno), который поэт написал в венской тюрьме. Это книга сильной и глубокой веры, и голос поэта, несущийся из нее уже становится голосом всей земли, которая заклинает своих сыновей, чтобы они не входили в сделки и держались, ибо на свете есть нечто большее чем жизнь — свобода. Книга «Окно» является вершиной всего поэтического творчества В. Дика, которое страдает часто от спешной импровизации и от перевеса политики над поэтом, который, однако, является одним из сложнейших и интереснейших явлений современной чешской литературы.

Горьким и все разлагающим критиком жизни остался и во время войны *Я. С. Махар*. Будучи рационалистом, охваченным внутренней сердечной тоской, он является поэтом чешской борьбы с Римом и Веней, а также поэтом социального возмущения. Его стихи это острый анализ общественной жизни конца прошлого столетия, а сдержанный, часто даже холодный и бесцветный стих — умышленная реакция против романтики и декадентства, смертельным врагом которых был Махар. Любовь к античному миру и французской революции привела его к созданию много томного поэтического произведения «Совесть веков» (Svèdomí věku), последнюю часть которого, изображающую революцию и Наполеона, он писал под впечатлением мировой войны. Это попытка создать поэзию, долженствующую быть моральной критикой истории, однако, часто она представляется нам лишь стихотворной переработкой документов.

Страстный ответ военной эпохе дал *Антонин Сова*, один из самых выдающихся поэтов 90-х годов, импрессионист в изображении души и пейзажа; он сохраняет всегда хрупкую мелодию и нежную красочность как при изображении душевного одиночества человека, так и тогда, когда его стих звучит подобно гимну городу и революционному движению человеческой мысли. Его три книги лирики, изданные во время войны, являются глубоким символом веры в народ и его будущность. После переворота в его стихах раздается восторженный пафос радости при сознании совершающегося освобождения, но в то же время в них слышно опасение за человека, ослепленного своекорыстием и ненавистью.

Карел Томан — поэт молодости и волнений. Беспокойство умирающего столетия разделило с самого начала его сердце между отчим домом и широким светом и гнало скитаться по миру, в этом бродяжничестве он изживает свою тоску, свой анархический протест и грусть по молодости. И несмотря на это Карел Томан связан неразрывно с действительностью: дух земли, который вдохновляет прекраснейшие стихи его художественной зрелости, охраняет его с самого начала всякий раз, как только он чувст-

вует себя преданным людьми или самим собой. И этот дух земли, который так прекрасно поет, выражен лучше всего его лирикой. Это всегда чистая и ясная мелодия слов, песня, которая освобождает материю от вечного сна и делает ее участницей человеческой судьбы. Томан принадлежит к тем поэтам, которые выражают свою чешскую сущность просто и без всякого пафоса: он живет ее радостями и страданиями всем, о чем поет. Его мелодии одновременно глубоко человечны и глубоко национально чешски. Скупы и робки были те стихи, которыми он говорил во время войны, но все же в них была слышна вся трагедия чешской души, трагедия молчащих, ждущих и презирающих.

Одним из представителей той небольшой группы поэтов, которые приняли участие в мировой войне и дали на нее свой ответ, является подполковник сибирских легионов *Рудольф Медек*. В его стихах в сгущенном виде дано все, что имеется значительного героизма, действия и упорства, которые, переходят иногда в страстный манифест солдата. Однако, в них мы можем также найти и экзотический элемент, опьянение авантюрой и страстные картины освобожденной родины. Поэт сводит счеты с миром, с личным прошлым, с душой Европы, а главным образом, с судьбой своего народа.

Молодая чешская поэзия, как, она нам представлялась в первые годы после войны, идет в большинстве случаев от Ст. Неймана и Ф. Шрамка. Влияния этих двух поэтов взаимно перекрещиваются, дополняют друг друга и создают школу поэтического витализма, который чем дальше, тем больше переходит в поверхностную чувственность. Мировая война и ее моральная и умственная атмосфера в значительной мере усиливали эти склонности у тех поэтов, которые не нашли поддержки в могучем религиозном чувстве любви к народу или человечеству. Дух, измученный постоянной неопределенностью, инстинктивно воспротивился надвигающемуся пессимизму и в атмосфере смерти любовно прильнул к телу, дабы испытать при его содействии прелесть естественного бытия. Однако, это радостное сближение с землей, которое у первых провозвестников сенсуализма и витализма было искуплено внутренним кризисом и борьбой, превратилось у некоторых молодых поэтов в поверхностный оптимизм, в котором чувственные наслаждения заменили лирические переживания души. Против этого поверхностного понимания поэзии подымается протест с двух сторон, во первых, мы его видим в социальной поэзии, которая ищет возрождения в коллективных переживаниях и социальной борьбе, во вторых, в новом спиритуализме, который снова обращает внимание поэта к метафизическим вопросам человеческой души и человеческой судьбы. Это стремление одухотворить

поэзию можно проследить в чешской литературе еще задолго до войны. В ту эпоху, когда побеждала техническая поэзия Неймана и его языческие восторги, направленные против материи, все же сохранились поэты интимных, духовных мелодий, которые звучат вторым голосом в хоре чешской поэзии. Значительным поэтом этой группы, вождем и учителем которой стал К. Томан, является *Отокар Фишер*, ушедший всецело во внутренний мир человеческой души и ее трагических противоречий.

Отокар Фишер романтик и дуалист, любящий связь противоречий, резкие вопросы разума, падающие в мечтательные сумерки, легкие струи чувств и дрему, при поторой внешняя реальность проскальзывает сквозь душу, как сон. Его книги полны тоски, гнездящейся в его душе, которая нигде не может найти себе пристанища, в них в различных формах повторяется жестокий мотив разлада между мечтой и действительностью. Последний выход из этой раздвоенности Фишер находит в философии круга, в котором все противоречия сливаются в вечном движении жизни.

Поэтом, который стремится сблизить современный вольный стих с духом народной песни, является *Петр Кричка*. Он родом из горной деревушки на границе Моравии и Чехии, и нечто от характера этого края проникает и его поэзию: он по детски шаловлив и чувствителен и в то же время тверд и ядрен чисто по мужски, как это часто бывает у тех, кто вырос между землей и небом. В его первой книге «Куст пиповника» которая сразу добилась всеобщего признания, перемешаны любовные признания и воспоминания детства с переживаниями во время войны, картинами страха и смерти, которые достигают иногда монументальности народных баллад. В книге «Белый щит» он прославляет свой родной край и радости деревенской молодежи.

Другой путь, при помощи которого чешская молодая поэзия стремилась освободиться от плена сенсуализма, был путь социальной поэзии. В самом начале и эта поэзия тесно связана с витализмом. Принимая его веру в свет и динамическое восприятие действительности, эта поэзия часто превращалась в романтическое восхваление рабочего и его труда, в революционную песню, которая увлекается больше новыми красками, чем этическими основами. Сенсуализм, с которым мы встречались уже в поэзии цивилизации, переносится на социальную почву и обволакивается коммунистической тенденцией. Этим путем от витализма к социальной и коммунистической поэзии первым пришел Станислав Нейман, а за ним *Иосиф Гора*, который является теперь вождем молодых поэтов, стремящихся к программному коммунистическому искусству.

Для *Иосифа Горы* коммунизм не является лишь литературной формулой, но жгучим вопросом сердца и ума и даже больше. — почти фанатической религиозной верой: в его стихи ча-

сто проскальзывает тень смерти и его волнуют такие вопросы, на которые массы не способны ему ответить. Этот разлад между отдельной личностью и массами все ярче и выразительнее рисуется в поэзии Горы и придает его социальной лирике мучительную жгучесть и драматичность, которая часто достигает степени какой-то социальной мистики. Это поэзия мужественной любви и ненависти, которая в тех случаях, когда агитатор не берет перевеса над поэтом, превращается в теплое человеческое чувство и умеет без громких слов говорить о великих вещах.

Очень скоро коммунистическая программа стала слишком узкой для некоторых поэтов, которые почувствовали, что развитие социальной поэзии возможно лишь путем преодоления марксистского материализма, его одухотворения и превращения некоторых социальных идей в религию, или, как это намечает поэзия Горы, путем мучительного переживания борьбы между человеком и массами, которые его поглощают. Стремление одухотворить социализм, кроме Горы проявилось у *Иржи Волкера*, одного из виднейших представителей молодой чешской поэзии. Несмотря на то, что он умер всего 23 лет от роду, он добился в своих двух книгах оригинального выражения мыслей, которое не было у него внешней формой, но действительным выражением его духовной личности. От религиозной интимности своей первой книги Волкер доходит до широты баллад, от восторженного пантеизма до социального коллективизма. Его личная скорбь перерождается в веру в искупительную силу человеческих страданий, в героическую силу человеческих мечтаний и в таинственную моральную связь всех судеб и событий. Волкер никогда не поддавался моральной анархии, которая под лозунгом свободного стиха была столь опасна для внутреннего равновесия стиха у младшего поколения чешских поэтов: интуитивное чувство музыкальности проступает светлым лучем во всей его поэзии и несет все сказанные им слова к единой духовной цели. Волкер — творец чешской социальной баллады, и в этом отношении он является непосредственным духовным наследником и продолжателем Эрбена.

Программа классового и тенденциозного искусства была по существу своему антихудожественна, и часто еще при жизни Волкера она превращалась просто во внешнюю формулу, которой многие пользовались из за своей внутренней беспомощности, не срастаясь с ней ни человечески, ни художественно. По смерти *Иржи Волкера*, который среди молодых социальных поэтов был единственным, у кого тенденция действительно стала внутренней силой поэтического слова, в группе поэтов, объединившихся в обществе, носящем название «Девять сил», наступил резкий перелом. Программа повернулась на 180 градусов и после тенденциозной пролетарской поэзии, явился *поэтизм*, безответ-

венная игра образами и понятиями, поэзия, которая не хочет быть ничем иным, как умением жить и пользоваться жизнью и стремиться превратить мир в огромное увеселительное учреждение. Таким образом, самое молодое поколение опять присоединилось, в некотором отношении, к традиции чешского декаданса и снова выбросило лозунг — «искусство для искусства», с которым боролись в течение этой эволюции современной чешской поэзии. Итак, поэтизм означает поворот от коллективизма к индивидуализму, от тенденции к формализму, от поэзии пролетарской к поэзии, стоящей вне добра и зла. Такое развитие ведет назад и часто опасно суживает человеческое содержание поэзии. Однако, в нем есть и элемент здоровой реакции, т. к. он снова освобождает первичные основы поэзии и вырывает образотворчество из холодной тюрьмы политического догматизма.

Ни более талантливым поэтом из школы поэтизма является *Витезслав Незвал*, который пытается создать новые комбинации слов и новые ассоциации понятий. Незвал чрезвычайно чувствителен к чисто поэтическим понятиям, к хрупкому очарованию картин и звуков, к привлеканию рифм и метафор и к влиянию душевной мелодии. В большинстве случаев его поэзия ничто иное, как музыка понятий, которая стремится вызвать определенное лирическое состояние сближением разнообразных картин и притом без помощи их логического содержания. Его стихи иногда поют с простосердечностью ярмарочной песенки, иногда же они ничто иное, как поход печальных снов, в которых сознательное отступает перед подсознательным, а материальный мир перед летучей мечтой. Незвал до сих пор еще находится под сильным влиянием современной французской поэзии и лишь медленно добивается индивидуальной формы. Его друг *Ярослав Сейферт* перешел к поэтизму от коллективистической поэзии, в которой тенденциозность сплеталась с горячим человеческим сочувствием. Это меланхолический поэт, хрупкая и туманная чувственность которого создает очаровательные образы скорее на основании снов и воспоминаний, чем непосредственного соприкосновения с действительностью. Его поэзия — искусственный рай, созданный из слов, восторгов и противоречий, между которыми пробегает магическая искра новой действительности. Сейферт обладает лирическим даром, столь редким в современной поэзии — он способен радоваться поэтическому образу, как самостоятельному художественному целому. Но все же это не целый мир, как его не было в тенденциозной пролетарской поэзии. Искусство в данном случае лишено своей метафизической основы и своих роковых сил, откуда и является опасность, что оно заблещет от своей искусственной нежности, точно также, как пролетарское искусство умерло от своей искусственной силы.

Д-р М. Рутге.

РАБОТЫ ЮГОСЛАВЯНСКОГО УЧЕНОГО ПО ИСТОРИИ РУССКОГО ТЕАТРА

В журнале «Центральная Европа», начавшем недавно выходить на русском языке в Праге, в чешском издательстве «Орбис», помещена в №8 интересная статья П. Богатырева, касающаяся исследования русского театра югославянским профессором О. М. Бадаличем. В виду отсутствия подробных сообщений об этих исследованиях на русском языке, приводим эту небольшую статью полностью.

Сравнительно недавно библиотекарь загребского университета д-р фил. О. М. Бадалич среди пачек неразобранных рукописей, принадлежащих библиотеке вышеназванного университета, нашел весьма ценное собрание русских пьес начала XVIII века. Эти рукописные пьесы, вероятно, были принесены из России драматургом XVIII века Мануилом Козачинским, питомцем Киевской Академии, известным потом своей просветительной деятельностью в Сербии и Хорватии.

В найденном Бадаличем сборнике имеются следующие пьесы:

1. «Страшное изображение второго пришествия Господня на землю, при державе благочестивейшего самодержавнейшего государя нашего ц. и вел. кн. Петра Алексеевича всея вел., мал. и бел. Россий самодержца, действием благородных отроков великороссийских в его царского величества славенороссийских Афинах, в царствующем и богоспасаемом граде Москве явленное лета Господня 1702-го месяца февраля в 4 день».

2. «Акт или действие о князе Петре Златых-Ключах и о прекрасной королеве Магилене Неополитанской».

Сюжет пьесы взят из повести, имевшей широкое распространение в XVIII веке в России и попавшей в лубочные картинки. Полный текст этой пьесы и при том в лучшей редакции был опубликован русским ученым Георгиевским в Известиях 2-го отделения Российской Академии Наук. Том 10.

3. «Сокращение оперы... действия Александра Македонского». Пьеса, сопровождаемая интересными интермедиями (о чем речь

вперед), разрабатывает известный в старинной русской литературе сюжет романа об Александре Македонском.

4. «Синописис или краткое видение декламации высочайшему дню рождения ее императорского величества, восписанный 1745 году месяца февраля... дня, в присутствии преосвященного Митрофана архиеп. Тверского и Кашинского от семинарии Тверской в двоих действиях изображенной».

Упоминаемый в заглавии пьесы Митрофан Словатинский — один из насадителей просвещения в Твери. По отзыву Бадалича, пьеса «интересный и весьма литературный панегирик с оригинальным «баллетом двенадцати месяцев» в конце пьесы».

5. «Образ торжества российскому доблестному подвигоположнику начертан... от трудов риторических в училищах Славено-латинских».

Это так же панегирическая школьная драма, до сих пор совершенно неизвестная, судя же по заглавию, представленная в Славянско-греко-латинской Академии, и сочиненная одним из ее преподавателей.

6 и 7. Наконец две трагедии Сумарокова «Семира» и «Гамлет».

Сделанному открытию югославянского ученого Бадалича, по словам академика Перетца «далеко для нас, русских историков драмы, не безразличному» Перетц посвятил целую главу в своей статье «К постановке изучения старинного театра в России». (Старинный театр в России XVII — XVIII веков. Сборник статей под редакцией акад. Перетца. Петербург, 1923). Об этом же открытии писал Бадалич в журнале «Ljetopis jugosl. Akademije znalosti i umjetnosti». Sv. 37. Zagreb, 1923, и П. Богатырев в журнале «Slavia», Praha 1924, roc. III, ses. 1.

В настоящее время Бадаличу уже удалось опубликовать часть найденных им пьес. В 62 книге «Споменика српске краљевке академије наука у Београду» была напечатана полностью пьеса «Страшное изображение». О. М. Бадалич снабдив издание пьесы детальным вступлением на хорватском языке и факсимиле заглавной страницы пьесы. В своем вступлении Бадалич указывает, что опубликовываемая им драма «Страшное изображение» не оставляет никакого сомнения в том, что она является именно той пьесой, программу которой опубликовал в своем сборнике пьес XVII — XVIII века ак. Н. С. Тихонравов. Самый текст драмы до открытия Бадалича не был известен. Далее Бадалич в своем вступлении дает краткий обзор развития школьной драмы в западной Европе, Германия, Париже, Вене, в Польше, наконец в Клене и Москве, и Основываясь на содержании драмы, Бадалич полемизирует с

мнением проф. Морозова, предполагавшего, что в основе этой драмы лежит церковный обряд, совершавшийся в России и известный под именем «действие страшного суда». По мнению Бадалича, исследование текста пьесы не дает возможности видеть в ней влияние православного обряда, тем более, что по признанию самого Морозова, обряд этот не содержал в себе и тени драматизма. С другой стороны исследование текста показывает, что автор «Страшного изображения», как истый ученик «латинской науки», прекрасно знал западно-европейские произведения, в частности драматические, в которых разрабатывался эсхатологический мотив и несомненно под их влиянием написал и свою драму. Пьеса «Страшное изображение» является отражением борьбы двух лагерей — сторонников и противников реформ Петра Великого.

Рукописный сборник надо отнести, по мнению Бадалича, к «тверскому кодексу» и поставить в связь с Феофилактом Лопатинским, прошедшим киевскую школу, потом ректором Московской Академии и, наконец, тверским архиереем.

Драма «Страшное изображение» — несомненно крупный этап в развитии русской школьной драмы, показывающий, какого высокого уровня достигли в области техники ораторского и драматического искусства в Московской Духовной Академии.

Кроме драмы «Страшное изображение», Бадалич издал в выходящем в Праге журнале «Slavia», Rocnik IV. ses. 3. 1925. из найденных им рукописных материалов 7 интерлюдий, которые Бадалич снабдил введением на русском языке. 4 из них входили в отмеченную нами выше оперу об Александре Македонском — три, другие находятся в конце триумфального акта «Синописис или краткое видение декламации». Оба драматических памятника, в которые входят интерлюдии, относятся к сороковым годам XVIII века, а потому и обе группы этих интерлюдий мы можем причислить к елизаветинскому времени. Из семи интерлюдий, три посвящены раскольническому вопросу, обострившемуся при Елизавете Петровне, при чем все интерлюдии занимает резко отрицательную позицию к раскольничеству, что показывает тесную связь этих интерлюдий с тогдашними официальными духовными кругами. В одной из интерлюдий чорт, посадив на кожу, на которой написаны имена еретиков, т.-е. видных деятелей раскола, отвозит раскольника в ад.

Три интерлюдии направлены против трех социальных пороков, тяготивших тогдашнюю русскую жизнь: взяточничество чиновников, пьянство, мошенничество. Одна из интерлюдий высмеивает труса-еврея. Действующими лицами, кроме упомянутых уже раскольника, чорта и еврея, являются цыган, литвин, подъячий, посадский, мошенник. Характеристики лиц необычайно живы, красочны, несколько грубоваты и каррикатурны. По

своему стилю они составляют резкий контраст с риторическими и схоластическими драмами, в состав которых они входили.

Прекрасно выдержан стиль речей отдельных персонажей. Так, раскольник все время пересыпает свою речь церковно-славянизмами и цитатами из Священного Писания.

Речь еврея, согласно народной традиции (анекдотической, сказочной и т. п.), пересыпана словами из еврейского жаргона, кроме того в ней стмечен и ряд фонетических особенностей.

Как пример приведу начало:

«О вей мир! О вей, посмотрите токмо люде,
Сдо с того за новой квас буде!
Вси цураются, вси нас вигоняют и т. п.

В речи исполнителей вставлено много чисто-народных выражений, что ярко отличает речи персонажей интерлюдий от персонажей высокопарных пьес, в состав которых они входили.

В монологе, мошенник описывает свою «работу» стилем напоминающим стиль балаганных дедов.

«Как я был резов, детина проворной!
Я первый в праздники был в церкви соборной.
Тут-то мне была добыча: кто рот как ворона
Розиня стоял, я его кармана
Берег, чтобы другой брат наш мене преже
Не сунулся; а хотя и того, вона рука моя здеже».

Бадалич сопоставляет найденные им интерлюдии с изданными ранее Тихонравовым и Андриановой, интерлюдиями Довгалева, накопец, со сценами вертепа.

Несомненно, издание этих новых материалов то старинному русскому театру должно будет осветить целый ряд оставшихся до сих пор темными сторон русского древняго театра. Надо надеяться, что и остальные драмы, найденные Бадаличем, вскоре появятся в печати с руководящими статьями, какими снабдил Бадалич издание первых опубликованных пьес.

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ КНУТА ГАМСУНА

(К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).

«Продавец, сапожник, учитель, дровосек, вагоновожатый и великолепный писатель» — под таким заглавием появилась интересная работа *Джона Ландкиста*, содержащая в себе много новых данных из жизни автора «Пана» и «Голода».

До настоящего времени не существовало исчерпывающей биографии Кнута Гамсуна. Произошло это по вине самого писателя, человека очень замкнутого и скрытного. В конце настоящей заметки с помощью Джона Ландкиста мы попытаемся проникнуть в причины этого странного для нашего времени явления: отсутствия биографии одного из мировых писателей. Джон Ландкист делает первую серьезную попытку написать правдивую и точную биографию, и она, конечно, как и многим до него, не удалась бы, если бы неожиданно сам Гамсун, — до сих пор предпочитающий молчать о своей жизни, несмотря на гору небылиц и анекдотов, выросшую за сорок лет вокруг его имени, — не предоставил Джону Ландкисту архив своих писем и не согласился на несколько личных бесед. Даже больше: написанное Джоном Ландкистом Гамсун проверил и, где это оказалось необходимым, исправил.

Тяжелая и редкая жизнь выпала на долю этого замечательного писателя. До тридцатилетнего возраста Гамсун зарабатывал себе на хлеб, главным образом в качестве чернорабочего, проходя разнообразнейшие виды тяжелого физического труда. В то же время ему приходилось вести упорную борьбу за свое самообразование и литературное будущее. Все, что он писал в течение десяти лет, неизменно возвращалось к нему, не попадая в печать, и, до тех пор, пока он последним усилием («Голод») не завоевал себе блестящего места в литературе, никто из литератур-

ных меценатов не приходил ему на помощь. Его путешествие юных лет, это не странствования по различным культурам — это скитания рабочего, меняющего города и страны в поисках заработка.

Кнут Гамсун родился в семье норвежского крестьянина 4-го августа 1859 года в Ломе около Гудбрандсдаля. Предки его в течение нескольких поколений жили на одном и том же дворе. «Я всеми своими корнями, говорит Гамсун, связан с землей и лесом. В городах я живу только литературной жизнью, жизнью кафе, книг и других химер. Я от земли».

Отец Кнута Гамсуна, Петер, живой и общительный человек, но неудачник в жизни, промышлял портняжеством. Его семья постепенно выходила к нищете, и, когда Кнуту было три года, она в надежде на лучшее положение перекочевала на север в норвежских фьордах — в Гамарей. Несчастья и тут не оставили многодетную семью, и бывали времена, когда Кнута не могли держать дома. Он провел несколько лет своего детства в доме брата матери, пастора в Нордланде, человека очень строгого и черствого. Не без горечи вспоминает Гамсун о нем в своем очерке «Привидение»: «Так как дядя относился ко мне чрезвычайно строго, моим единственным удовольствием было скрываться от него и бывать в одиночестве. Когда мне изредка выпадал свободный час, я направлялся в лес или шел на кладбище, где бродил между гробами и могильными плитами, мечтал, думал и говорил вслух, с самим собою».

В 1873 году четырнадцатилетним подростком Гамсун вернулся в Гудбрандсдаль, где и поступил на службу в мелочную лавку. Осенью того же года он пробыл некоторое время в родном доме, а зиму провел в Транее, служа опять в какой-то лавчонке. В следующем году он переменил несколько профессий; между прочим, в продолжении лета был странствующим разнощиком товаров, а зимою — на обучении у сапожника. 1877-ой и 1878-ой годы Гамсун пробыл на одном из северных островов в местечке Бе, где он занимал должность народного учителя, а впоследствии — помощника местного административного начальника. К этому времени относятся первые печатные выступления восемнадцатилетнего писателя. В Тромсэ появилась на свет новелла «Таинственная незнакомка, любовная история из Нордландии», потом стихотворение «Свидание» и рассказ «Бюргер» Кнута Петерзена Гамсуна (1878). Изданы они были на собственные средства автора, на его последние сбережения. Само собой разумеется, что ни один критик или писатель не подарил вниманием эту отдаленную северную литературу. Теперь эти книги принадлежат к редчайшим и драгоценнейшим изданиям на норвежском книжном рынке.

Через год Гамсун, наконец, нашел своего первого покровителя, одного крупного коммерсанта, и при его поддержке поехал

в Копенгаген, где и предложил одному издательству своей новый рассказ «Фрида». Но получив отказ, «потерял мужество и ни к кому другому больше не обращался». Из Копенгагена он перекочевал в Христианию, где продолжал все время писать и получать из редакций неизменные отказы. Деньги приходили к концу, и ему пришлось снова надеть костюм рабочего, на этот раз — железнодорожника. На этой работе Гамсун пробыл целых два года.

Несмотря на всю тяжесть того времени, Гамсун с удовольствием вспоминал о нем. «Прошло много лет с тех пор, как мы были железнодорожными рабочими, Гриндгузен и я». — рассказывает Гамсун в своем романе «Под осенними звездами». — «Это было во времена нашей шумной юности, мы танцевали вдоль дорог в печальнейшей обуви, мы ели только тогда, когда были деньги и сразу на все, что получали. Но стоило завестись в наших карманах лишним монетам, мы, бывало, приглашали девиц и друзей, и танцевали целой ватагой всю ночь напролет с субботы на воскресенье. И хозяйка харчевни так торговала кофе, что даже богателя на этом. Потом наступали тяжелые дни работы, в которые мы душой и телом мечтали о следующей субботе».

В 1882 году Гамсун, в надежде улучшить свою жизнь, решил поехать в Америку, в это «государство свободы и страну больших возможностей». Деньги на дорогу он получил от одной старой богатой крестьянки из Гудбрандсдаля («Мать Фрейсланд»). Одна немецкая пароходная линия предоставила ему бесплатный проезд, так как он намеривался писать для некоторых газет. «Я писал все время» — рассказывает Гамсун Джону Ландкисту — «но в газеты ничего не попадало».

В Америке Гамсун случайно встретился с униатским пастором, норвежцем Христофором Янсоном. Между ними возникла дружба, и Гамсун устроился у Янсона на должности канцеляриста. Он находился при нем до 1884 года, года, чуть не ставшего для него роковым. Гамсун заболел воспалением легких в тяжелой форме. Врач определил ему «два месяца жизни». Янсон устроил денежную подписку среди друзей для его возвращения на родину. Положение было очень серьезно. Гамсун был тяжело болен и душевно очень удручен. Так печально кончилось его первое путешествие в Америку. Возвратившись в Норвегию, он несколько лет пробыл в Фальдресе у Эрика Фриденлунда, где, в конце концов, окончательно выздоровел.

И вот Гамсун наново начал борьбу за существование на своей родине. «В 1886 г.» — рассказывает он Д. Ландкисту — «я снова сделал попытку жить в Христиании, снова искал должности. Мне попрежнему несчастливилось. Я был беден и только изредка получал несколько крон за газетные статьи». Эта жизнь по-

служила ему впоследствии материалом для его большого произведения «Голод».

Гамсун пробовал себя и в качестве лектора. Он совершил поездку по некоторым норвежским городам с лекциями о Страндберге. По словам Гамсуна, это был его блестящий провал.

После того, как он перепробовал все возможности и всюду потерпел неудачу — он решил снова попытаться счастья за океаном. Второе его путешествие в Америку было новой эпопеей скитаний, надежд и разочарований, нищеты и временного благополучия — удач и неудач. От вагеноводжатога в Чикаго и полевого работника — до лектора о скандинавской литературе в Миннеаполисе — таков его новый двухлетний путь. Окончательно разочаровавшись в Америке, воздав ей должное в своих прощальных лекциях и впоследствии в своей книге об Америке, Гамсун снова вернулся на родину. На этот раз деньги на проезд он получил от чикагского крупного предпринимателя проф. Фредриксена. Очень интересно, что при встрече с ним в Париже Гамсун вернул ему долг и «Фредриксен, — вспоминает Гамсун, — покраснел, как молодая девушка».

Летом 1888 г. Гамсун в Копенгагене написал первую часть «Голода».

Этим же летом произошла встреча Гамсуна с Эдвардом Брандесом, тогдашним литературным редактором левой газеты «Политики» (будущим министром финансов Дании). Гамсун передал ему первую рукопись «Голода». Вот как рассказывает об этой знаменательной встрече, которая осталась неизгладимой в памяти Брандеса, шведский писатель Аксель Лундегард, который был в тот вечер приглашен к Брандесу:

«Брандес встретил меня с легким румянцем замешательства, чуть-чуть улыбаясь проницательно над самим собой.

«— Можете себе представить — начал он, — приходит сегодня в редакцию один норвежец и хочет говорить со мной. И, конечно, он имел в кармане рукопись! Но вначале она меня меньше интересовала, чем сам человек. Редко я видел кого-нибудь, кто бы мог так опуститься. И не только то, что его одежда была изодрана. Лицо! Вы ведь знаете, что я не чувствителен. Но лицо этого человека захватило меня.

«Я взял его рукопись. Это был рассказ. Слишком длинный для одного номера «Политика» — это я тотчас же увидел — он бы занял половину газеты. А для фельетона с продолжениями он был слишком короток. Это я и сказал автору, и хотел вернуть рукопись. В это мгновение я увидел выражение его глаз и... не смог отказать. Я обещал прочесть эту рукопись, записал имя и адрес автора. И тогда он ушел.

«Я отодвинул все в сторону и сел снова за работу. Но я не мог чувствовать себя спокойным. Выражение его дрожащего, блед-

ного лица преследовало меня. В нем что-то было, чего я тогда не мог объяснить. — Теперь я понимаю его лучше.

«Уезжая, я взял его рассказ с собой. И за столом я начал его читать. Он захватил меня тотчас же. И чем дальше я читал, тем более увлекал он меня. Он был не только талантлив, как много другое. Это было большее. Это было что-то, что меня потрясло. В нем был Достоевский.

«Я еще не дочитал до половины рассказа, как вдруг меня осенила мысль, что автор бродит сейчас по городу и голодает. Я ощутил это, как стыд.

«Как дурак, я выбежал из дому на почтовую станцию и спешно послал десять крон.

«Тогда я вернулся домой и продолжал чтение. И чем дальше я читал, тем более постыдным я себя чувствовал. Но когда я дочитал до конца, я был совсем убит. Слышите вы?» —

«Он взял последнюю страницу рукописи и начал громко читать.

«Это был рассказ одного голодающего и безприютного. писателя без имени, о том, как он, перед перспективой пребывания всю ночь на улицах, в носках подымается по лестнице в свою нищенскую дыру, где он недавно жил; но куда больше не мог возвращаться, так как нечем было уплатить за наем, — как он находит на своем столе письмо и как снова таким же путем уходит. Письмо было из редакции одной газеты, куда он дал рукопись. Он читал письмо при неровном свете уличного фонаря. И ему стало светло. Рукопись была принята и отослана в печать.

«...Некоторые небольшие поправки... исправлено несколько грамматических ошибок... талантливо написано.... получите завтра десять крон...».

«Эдвард Брандес снова засмеялся своим смущенным смехом и сказал, кладя перед собой исписанные листки:

«—»Понимаете вы, каким чувствовал я себя убитым из-за этих жалких десяти крон?».

«— Да, я понимаю это.

«Он взглянул на меня:

«—»Если бы вы прочли рассказ, вы поняли бы это еще лучше».

«— Неужели он такой замечательный? — спросил я. — Как он называется?»

«—»Голод».

«— А автор?»

«— «Кнут Гамсун». — — —

«Голод» одним ударом сделал Гамсуна знаменитым в норвежских странах. Целиком в отдельном издании он появился весной 1890 г. и одновременно в немецком переводе. За год до

этого Гамсун уже обратил на себя внимание едким памфлетом «Из духовной жизни современной Америки».

Так началась слава Кнута Гамсуна.

В 1892 г. появился его большой роман «Мистерии», а в следующем — «Редактор Лингэ». После выхода этих вещей в свет, Гамсун переехал в Париж и поселился в одном небольшом отеле около Люксембургского сада (8, рю Вожирар). Здесь в летнем вное июля и августа им был написан роман «Новая земля». Последующие годы Гамсун провел на родине, около Христианин, где в маленьком домике на вершине горы — он создал своего «Пана», давшего ему мировую славу.

Зиму 1894-го года Гамсун прожил в той же комнате отеля на рю Вожирар, как и в первое свое пребывание в Париже. Об этом времени имеется любопытная запись скандинавского писателя Йогана Бойера:

«Гамсун целую зиму жил в одиночестве. Он писал. Его друзья говорили, что он ложился спать в 8 часов вечера и вставал в 3 часа ночи, чтобы сесть за письменный стол. На этот раз это была пьеса, это было «У врат царства».

«Все же изредка он приходил в обычное место встреч скандинавцев, в Кафе де ля Режанс. Когда Гамсун, человек необычной и интересной наружности, проходил между столиками, поддерживая свой длинный плащ, чтобы не валить со столиков стаканы, казалось, что это был владелец и кафе и публики в нем. Даже посторонние посетители должны были опускать газеты и провожать его взорами. Обычно он находил уединенный угол и прятался за скандинавскими газетами.

«Нельзя его беспокоить, думали мы. Он устал и хочет побыть в одиночестве. Автор «Пана» имеет право на это.

«Но бывало и так, что он созывал нас на шумные пирушки. Поразительно, что когда мы ездили с ним по городу, у него являлась странное желание конфисковать всех свободных извозчиков или все цветы, которые предлагали уличные продавщицы. «Боже, как мне хочется пить», застонал однажды один художник, сидевший за столиком в Кафе де ля Режанс. Гамсун подозвал гарсона и заказал: «Принесите нам двадцать пять бокалов пива».

«После одного веселого завтрака Гамсун долго возил нас в целой веренице карет по городу, пока не привез в одно уединенное место, — выстроил всех в ряд, вынул огромное количество мыла и роздал это сокровище — каждому по куску в красивой серебряной упаковке. Все это продельвалось с незабываемым для нас серьезным видом».

Для автора «Голода», для человека, пятнадцать лет скитавшегося по миру в поисках куска хлеба — эта жадность к большому количеству, это хмельное желание все приобрести, из того,

что с таким трудом доставалось раньше, — чрезвычайно любопытны и психологически интересны.

Летом в 1896 г. Гамсун поехал домой и с тех пор ни разу не был в Париже.

В 1902 году Гамсун посетил Финляндию и предпринял отсюда на средства норвежской государственной стипендии путешествие по России, через Москву на Кавказ, которое он описал в веселом путевом рассказе «В сказочной стране». По возвращении на родину, он лето 1904 г. проработал над сборником своих стихотворений «Дикий хор». К этому времени относятся его горькие слова: «Господи, как мне противны все мои писания. Я пресытился романами, я презираю драму; теперь начал писать стихи, единственный род искусства, который не претенциозен и может ничего не говорить».

Пятидесятилетний Гамсун, в 1908 г. своим романом «Бенони» начал новый большой период своего творчества: изображение народной жизни северных стран. Продолжением тенденций «Бенони» являются «Роза», «Время детей», «Город Зегельфосс» и, наконец, лучший из этой серии романов, ставший самым популярным — получивший в 1920 г. нобелевскую премию «Благословение Земле».

Эти годы Гамсун прожил в местах своего детства, в Гамарее, где когда то его семья пыталась выйти из нищеты, куда он потом приезжал приказчиком — и где теперь он отдыхал уже всемирно известным писателем. Но север был вреден для его здоровья и ему пришлось переехать на юг, где он купил одинокий дом недалеко от города Гримштадта; в нем он и живет в настоящее время. Жизнь его проходит замкнуто, в кругу семьи, в тишине и спокойствии — в созерцании и глубокой дружбе с природой, прекрасным певцом которой он пребывал всю свою жизнь. Безпритязный скиталец, романтик и путешественник, он призывает теперь к «оседлому образу жизни», к той земле, из которой он вышел, и проклинает своих соотечественников за то, что они превращают его родину, наводненную американскими туристами, «в страну содержателей гостиниц и гарсонов». Гамсун забывает, что в этом наплыве богатых иностранцев в Норвегию, отчасти повинен и он, изобразитель могучих красот севера.

Таков в сжатых чертах материал новой гамсуновской биографии Джона Ландквиста. В заключении коснемся еще раз равнодушия Гамсуна к внешним проявлениям своей жизни. Он совершенно не интересовался своей биографией и никогда не занимался самоанализом. Его творчестве, конечно, было субъективно, но он всегда, как, пожалуй, никто из других больших писателей, тщательно сохранял анонимность своей личности. Также, пожалуй, никто так не избегал современной рекламы, как Гамсун. Он ни разу не сделал ни одного шага к тому, чтобы заставить обра-

тить внимание на свою вещь, он никогда не отвечал ни на одно из нападений на его книги и никого никогда не просил заступиться за него. Он даже не читал те книги, в которых говорилось о нем — он ни разу не исправил ни одной ошибки, не опроверг ни одной лжи, которые разносились по всему свету о его жизни. (Вот о ком должен был бы задуматься Бернард Шоу). Существует много рассказов об этой особенности Гамсуна. Писатель, М. Левин рассказывает о том, как Гамсуну была предложена одним русским издательством крупная сумма денег за написание автобиографии, как кто-то давал 1.000 крон за один час беседы с Гамсуном, — и как Гамсун всегда отказывал во всем подобном, органически ненавидя всякие блестящие предложения. (Повидимому он теперь больше любит свои прежние неудачи). Несмотря на это попрежнему продолжались писаться его биографии и всевозможные небылицы вплоть до какой-то любовной истории в России.

Эта замкнутость есть нечто большее, чем обыкновенный принцип. Она коренится в стыдливой гордости его высокой натуры. Это особенно отчетливо звучит в его стихотворениях. Молчание — это заповедь непосредственной глубокой жизни. Джон Ландкист выводит это из философии Эпикура: «скрывай свою жизнь».

Но читатели, — последователи иной философии, и вот почему мы благодарны Кнуту Гамсуну за то, что он, наконец, хоть и скупо поделился некоторыми фактами из своей жизни, и Джону Ландкисту за то, что он сумел собрать и оценить эти факты и талантливо преподнести их нам.

Б. С.

БУНИН О ЕСЕНИНЕ И САМОРОДКАХ

В четверговых номерах парижской газеты «Возрождение» довольно часто появляются критико-литературные статьи, подписанные Ив. Буниным. Обычный тон их отменно груб и самоуверен. Общественное мнение эмиграции почти всегда подобострастно молчит по поводу писаний критика Бунина, и только изредка раздаются робкие верные подданические протесты (напр., открытое письмо М. Гофмана в «Последних Новостях»).

Марк Слоним в «Воле России» очень едко высмеял престолодержателя русской литературы и этим навлек на себя не мало грозных нареканий. Настоящая заметка служит некоторым новым вкладом в историю добрых нравов эмигрантской писательской среды.

В номере 800 «Возрождения» от 11-го августа, напечатана одна из очередных статей Бунина «Самородки». Эта статья, редкая по грубости даже и для Бунина, посвящена покойному Сергею Есенину, чья страшная смерть еще памятна всем. Мы не собираемся спорить с Буниным о том, поэт ли Есенин. Есенин для Бунина: «хам», «хулиган», «жулик», «острожник», «дикарь», «полотер», «маляр», «друг-приятель и собутыльник чекистов» (таков обычный словарь академика, дворянина Бунина), лирика Есенина «писарская». Для подкрепления своих поэтических наблюдений Бунин приводит анекдот, которым любезно поделился на страницах «Современных Записок» В. Ходасевич, анекдот о способе Есенина обольщать девиц предложением повести их посмотреть на расстрелы в Че-ка. И в то-же время для Бунина фельетонист Дон-Аминадо — «удивительный талант», «что ни слово, то золото» (во истину золотой самородок!). Но не в этом дело — важно то, что Бунин в своей статье приводит такие грязненькие, неизвестно откуда им взятые, фактики из жизни Есенина, что, право, становится вчуже стыдно перед памятью поэта Есенина за поэта Бунина. В одном месте Бунин пишет: Есенин «наряжался в шелковое белье на счет американской старухи, мордуя ее чем попадя и где попало». Так позволяет себе Бунин оскорблять женщину и артистку. Нам вспоминаются слова Пушкина: «Приятельское ли дело вывешивать на показ мокрые мои простыни? Бог тебя простит! но ты осрамил меня», сказанное по

совсем невинному поводу в письме к Бестужеву. Что же сказать нам перед небывалым зрелищем, как академик Бунин копается в шелковом белье «хама и жулика» Есенина, выяснив тонким анализом на чей счет оно было сшито. Если бы задачей русской критики было бы выяснение, кто из писателей сколько раз и в каком возрасте изменял своей жене и кто на чей счет шьет себе белье, то такую критику следовало бы посадить в те «кабаки и полицейские участки», о которых упоминает Бунин.

Бунин ругает Есенина за то, что он поносил Россию и «вообще по всему свету позорил русское имя». Бунин сокрушается, что «нам наше десятилетнее пребывание в Европе не помогло и нас опять тянет на сиводай». А сам, в то же время, сидя в Европе, такое извлекает из жизни русских писателей, о чем и в России стыдно было бы писать. Не удивительно, что он поносит Есенина, но он не щадит и старых писателей, если они из разночинцев. Кому интересно знать, что Н. Успенский «заставлял свою несчастную дочь плясать под гармонику и приговаривать всякую похабщину», что он «брал ее, как щенка, за шиворот и, на забаву мужикам, бросал в реку, в пруд». Кому интересно знать, чем Левитов отплатил своему «спасителю» за гостеприимство и в каком виде оставил шелковую мебель в гостиной. (Тем более, что это не факты, а только свидетельства некоей попойки, с которой, по словам Бунина, жил Успенский и некоего «спасителя», который «сто раз» пытался спасти Левитова). Бунин, носитель русской культуры, через каждые два слова повторяющий: русская культура, русская музыка, русская литература, Бунин, который говорит, что босяки Горького (надо было бы добавить: «в смычке» с героями бунинской «Деревни»), «перед которыми мы 20 лет надрывались от восторга», превратившись в большевиков, «на весь мир опозорили Россию», — сам того не замечая, позорит ее еще больше.

Столько мерзостей написано за последнее время — советскими об эмигрантских и эмигрантскими о советских писателях, что порою страшно становится. Когда это кончится, господа!

Что же по существу представляет собою статья Бунина «Самородки»? Трудно себе представить как поверхностно и легкомысленно судит Бунин о самых трагических и глубоких явлениях русской жизни и культуры. Не верится, что об этом и так говорит русский писатель. Такого непонимания самых основных черт русской души не проявлял ни один из иностранных авторов «развесистой клюквы»: Бунин, (приписывая, кстати сказать, эти слова Чехову) с высоты своего дворянского достоинства, заявляет: «это все от некультурности. Державин, Пушкин, Лермонтов, Тургенев и все прочие, подобные им, не пьянствовали и не надрывались, А вот как пошли разночинцы, все эти Левитовы, Нефедовы, Оммулевские, так и пошла писать губерния... Так значит все эти «надрывы», все эти, «пшищущие, протестующие, мятущиеся души» (как иронически замечает Бунин) пошли от разночинства. Ну а что же надрыв Лермонтова, Гоголя, художника Иванова, сумасшест-

вие Батюшкова, Озерова, смерть Глеба Успенского, — это тоже все от различия и «сиводая»? Превращая в кабацкий пасквиль самую основную трагедию русских писателей, Бунин, кроме всего, в каждом своем утверждении и просто исторически, а иногда и этически неправ. Бунин не видит что все эти «надрывы» и пьянства были зачастую только выходом из тисков тяжелой русской и вообще человеческой жизни. Говоря шире, эти явления не чужды и всей истории всемирной литературы. Имена Виллона, Рабле, Верлена, Бодлера, Уайльда и пр. должны сказать многое. Останавливаясь перед богохульством разночинцев Есенина и пр., как перед новым литературным явлением, Бунин забывает, что оно было не чуждо, как всякой молодости и дерзанию, многим вышедшим из дворянского сословия («гармонический» и «уравновешенный» Пушкин с его «Гаврилиадой»).

Подобными «опечатками» полны все статьи критика Бунина. В заключение нам вспоминается печатное заявление Бунина о своем отношении к новой орфографии, которую он не может выносить, т. к. по ней пишется современная русская, для Бунина, заборная, литература и декреты большевицкого правительства. Но мы прекрасно знаем, что Бунин считает возможным писать по орфографии, на которой писались та же «Гаврилади» Пушкина, «Яма» Куприна, «Деревня» Бунина, а также купчие о продаже крестьян или же дела охранны.

А. Ч.

КНИЖНЫЕ НОВОСТИ

Альманах «КРУГ», кн. 6-ая. — Вал. КАТАЕВ, «РАСТРАТЧИКИ». — С. ЗАЯЦКИЙ, «БАКЛАЖАНЫ». — О. ФОРШ, «СОВРЕМЕННОСТИ».

Альманахи «Круг» давали, обыкновенно, интересный материал. Вместе с альманахами «Ковш» и «Недра» они являлись самыми живыми литературными сборниками последних лет.

К сожалению, шестая книжка «Круга» изменила этой доброй традиции.

«Гвоздь» ее — отрывок из повести М. Горького «Жизнь Клима Самина». Теперь вещь эта вышла в отдельном издании, поэтому не хочется оценивать несколько глав ее, помещенных в «Круге». В них два ярких места, — описание Ходынки и Москвы дней коронации Николая II и картина нижегородской ярмарки. Особенно красочной вышла последняя: удалось Горькому передать некую плотность вещей, материальную тяжесть их. Выставку посещают два «повелителя»: русский самодержец и знаменитый китаец Ли Хун Чанг; появлением этого, настоящего «вождя», величественно властного — и заканчивается Горьковский отрывок.

Есть в нем и другое: человеческие отношения, наброски второстепенных персонажей, описание любви и душевной борьбы, но все это выхвачено из целого, и оставляет в читателе чувство какой то неудовлетворенности.

Половой патологией занялся талантливый **Вс. Иванов**, потративший много умения и стилистической ловкости для того, чтобы рассказать, как пьяные солдаты заставили безногого блаженного Анания провести ночь с разгульной девицей, от чего он и умер. Рассказано это с такими «густыми» натуралистическими подробностями, что чтение «Блаженного Анания» вызывает ощущения, схожие с морской болезнью.

Остальное в Альманахе — «пустячки».

Самый остроумный пустячок-шарж **Замятин** «Слово представляется тов. Чурыгину». Герой рассказа — тип из Зо-

щенки, — вспоминает, как в 1917 г. он ходил с мужиками громить барина, как вся деревня по ошибке приняла Распутина за «своего человека» и народного друга, и мстила «барам» за его убийство, и как после революции, спутав Маркса и Марса, стали воздавать почести статуе бога войны.

Леонов пробует свои силы в качестве драматурга, в отрывке «Старухи», по которому трудно судить, насколько овладел писатель драматической формой. «Старухи» — сцена из жизни богадельни для дворянок в дни октябрьской революции. Конечно, старухи изображают прошлое, и врывающийся к ним с криком о победе матрос — новую жизнь. Все это черезчур незначительно и шаблонно. От Леонова можно было ждать большего.

Рассказ **Лидина** («Волхвы») о французских авиаторах, во время полета в России, ощутивших величие всечеловеческой жизни и понявших превосходство ее над ограниченностью национальной гордости, написан очень хорошо, но туманно, и просветление героя кажется надуманным, почти фальшивым.

В историко-критическом отделе — письма Некрасова к Толстому, «Заметки читателя» Горького и фельетон-пародия **Воронского**: как принимают в различных редакциях и издательствах «идеологически выдержанный», как того требуют комкритики, рассказ.

Повесть **Вал. Катаева** «Растратчики», напечатанная в «Красной Нови» еще в прошлом году, вышла отдельным изданием. Пожалуй, из новинок «сезона» наибольший успех среди читателей и — что всего удивительнее, — среди критиков выпал именно на долю «Растратчиков».

Сюжет ее очень прост: под влиянием окружающей атмосферы растрат, кассир и бухгалтер советского учреждения, по печальной случайности, тоже производят растрату, едут кутить в провинцию, — бешеным колесом кружатся эти похождения современных Чичиковых, — вплоть до минуты протрезвления: а за ней Москва, тюрьма, расплата.

Не случайно имя гоголевского героя приходит на ум, когда говоришь о повести Катаева. Писатель изображает целую галерею отечественных мертвых душ: чиновники и протитутки, актеры и эппманы, агенты по распространению казенных коммунистических изданий и авантюристы, зарисованные отчетливо в том несколько каррикатурном виде, какой присущ всей повести, проходят перед читателем забавной и живой вереницей. Служилая Москва и замерзший Петербург, сонный уездный город и даже нелепая, но крепкая деревня — повсюду блуждают растратчики в поисках занятой жизни, выпивки и кутежа, и сквозь их угарные приключения показана подлинная сегодняшняя Россия.

Вместо обычных сейчас веселых пустячков Зошенко и Романова, Катаев сумел дать юмористическую повесть, не только вызывающую у читателя искренний смех, но и обладающую большими художественными достоинствами: жизненной яркостью изображенных типов, широким сюжетным захватом, и превращением юмора в глубокую общественную сатиру.

Среди большого количества тех «обличительных» произведений, которыми полна сейчас русская литература, обнаруживающая такой решительный «возврат к Гоголю», повести Катаева принадлежит, конечно, одно из первых мест.

Именем Гоголя начинается и книга молодого и талантливого писателя С. Заяицкого «Баклажаны», описывающая глухое украинское село, в котором и в 1925 г. живут, точно сто лет назад. В «Баклажанах» течет нездоровая жизнь. В насиженных местах, там церкви полны народа, а приезжие москвичи заигрывают с дебелими попадьями, там верят в нечистую силу и никто толком не скажет, по каким дням идет скорый поезд в столицу. В веселой повести Заяицкого, написанную в «ключе» легкого юмора, почти шаржа, есть и гордая Вера, бьющая поклоны, чтоб замолить свой грех — любовь к бандиту, ныне служащему приемщиком в Спилке, и уродливая Лукерья, и местечковый Дон Кихот, умирающий от чахотки, и прекрасная еврейка — словом, целый романтический арсенал, правда несколько подновленный красками современности. На фоне дремлющих «Баклажан» разыгрываются нелепые драмы и трагикомедии их обитателей, идет случайная нелепица жизни. И в то же время «Баклажаны» ждут. Ждут вихря, нового Махно, бандитов, резни. Под обманчивой внешностью Сорочинской ярмарки нет спокойствия. И не то, чтобы гуляли свиные рыла и красные свитки. «Не свиные рыла, но что то неизмеримо более страшное почуял он вдруг, и ясно представилась ему эта площадь с брошенными жожарами и лотками, по которой скачут всадники в мохнатых шапках, и для этих всадников смерть человека есть лишь привычный взмах отточенной сабли». В тихой заводи баклажанских вод дремлет «нечистая сила» — и за нелепой комичностью Никифоровичей и старосветских помещиков видит Заяицкий бешеную и грозную стихию.

«Баклажаны» — отличный образец той легкой юмористики, которая забавляет, смешит, а если и ставит «проблемы», то не выпячивая их, не подчиняя тенденциозности и сюжет и обрисовку типов, как это часто происходит сейчас в молодой литературе.

Это не значит, что Заяицкий — юморист типа легкомысленного и пустого Джерома К. Джерома.

Рассказы, помещенные вслед за повестью «Баклажаны», сви-

детельствуют, что автор их обладает и литературной культурой — (вещь не слишком частая в современной советской литературе) — и способностью выйти за пределы «безыдейной юмористики». Идя в гоголевском русле, Заяицкий в рассказах «Судьба загадка» и «Женитьба Мечтателя» описывает фантастику быта, причем особенно занимает его судьба среднего российского интеллигента, которого раздавила революция. По замыслу, есть в этих рассказах нечто схожее с «Концом мелкого человека» Л. Леонова.

Не знаю, написал ли Заяицкий еще что либо, кроме сборника «Баклажаны». Во всяком случае, это, если и не первостепенный, то, во всяком случае, безусловно сложившийся и талантливый писатель.

«Современники» **О. Форш** вышли недавно вторым изданием, и на обороте этой изящно переплетенной книги сообщается о подготовке к печати собрания сочинений писательницы.

Нет ничего удивительного, что исторические романы **О. Форш** пользуются большим успехом у публики. В них всегда внешняя занимательность, большой сюжетный замысел, зачастую взятый из революционного прошлого, и эта романтика, всегда привлекает широкие круги читателей.

В умении овладеть сюжетом, в искусстве драматического рассказа и лежит главная сила **Форш**. Ее герои **движутся**, движения всегда очень много в ее романах и подкупает эта известная динамичность ее творчества. Но эта динамика всегда несколько примитивна: удаются **Форш** резкие линии профилей; не знает она тонкого мастерства психологических портретов. И еще одно: **Форш** видит людей прошлого, как современников, но ей не дано умение передавать обстановку эпохи, тот исключительный аромат, который присущ различным историческим периодам под разными небесами.

Так и в «Современниках», этом романе, описывающем Гоголя и знаменитого художника Иванова во время их пребывания в Риме, нет Италии и нет сороковых годов. И духовный нигилист Багрецов — герой романа — и Гоголь и Иванов, — точно вырваны из той среды, в которой они переживали свои душевные драмы. Может быть, задача автора и заключалась в том, чтобы заставить нас почувствовать людей сороковых годов, как наших современников, — но тогда все произведение должно было бы быть построено совершенно иначе. Тогда в нем не должно было бы быть тех «исторических» штрихов и описаний, которых недостаточно, чтобы создать иллюзию сороковых годов, но которых вполне хватит, чтобы по-

мешать нам забыть о том, в какие годы жили герои романа О. Форш.

«Современники» нельзя назвать наиболее удачным произведением писательницы, но, конечно, они находят и найдут множество читателей, которые с интересом прочтут завлекательное повествование о великих и малых людях прошлого столетия.

М. Сл.

ОТЗЫВЫ О КНИГАХ

ГУСТАВ ШПЕТ. Введение в этническую философию. Вып. 1
Госуд. Академия Художеств.
Наук. М. 1927. Стр. 148. 1 р.
50 к. 2.000 экз.

Талантливый профессор Французского Института в Праге Д. Эссертье выпустил недавно весьма полезный опыт критической библиографии «*Psychologie et sociologie*» (Paris, Alcan, 1927). Работа Эссертье показывает, насколько еще не размежованы границы психологии и социологии, насколько не установлены самые основные понятия этих наук. «Для Бергсона социальная жизнь делает нас чуждыми друг другу, отвлекает нас от нашего сокровенного я, лучшего, наиболее нежного нашей души. Для Ш. Блонделя общество — убежище, спасительная земля, пристань. В глубинах я душа терялась, она овладела собой, вынырнув на поверхность, т. е. в среду людей. Невроз есть вторжение в сознание того в нас, что еще не обобществлено, чисто психологического»....

В обширном обозрении литературы предмета, охватывающем 500 трудов, есть все же пробелы. В частности, французский ученый,

хотя и пытался, но не смог собрать указаний о русских работах, за исключением книг И. П. Павлова, В. М. Бехтерева. Нужно, однако, сознаться, что русских крупных работ в этой области не так много, особенно же скудна литература по логике социальных наук, несмотря на ценные книги Л. И. Петражицкого, Б. А. Кистяковского, С. Франка. Вот почему следует приветствовать появление книги Г. Г. Шпета, поставившего себе задачей установить предмет и задачи этнической психологии, но дающего гораздо больше: намечаются возможные научные подходы к изучению человека и общества, анализируются существующие в психологии течения, высказываются значительные мысли о природе духа, коллектива, народа...

«Этническая психология имеет предметом, по развиваемому Г. Г. Шпетом мнению, конкретный духовный уклад человека: «в типических коллективных переживаниях». В основном она, как и социальная психология, есть социальная характерология; но для социальной психологии существенно распределение продуктов и их

суб'ектов по социологическим категориямъ. Эти категории объективны народ же человек определяет для себя субъективно, как указывали еще Лазарус-Штейнталь, по «магистралам» которых и ведет свое определение этнической психологии Шпет. «Народ есть духовное произведение индивидов, которые принадлежат к нему, они — не народ, а они его только непрерывно творят... поскольку уничтожают свое отъединение, говорили Лазарус-Штейнталь. «Человек действительно духовно определяет себя, относит себя к данному народу, говорит Шпет: он может даже «перемешать» народ, войти в состав и дух другого народа, однако.. не «произвольно», а путем долгого и упорного труда пересоздания детерминирующего его духовного уклада. Духовный уклад индивида и есть дух его народа... Если бы современные народы разделились на классы, которые переливаясь из народа в народ, создали бы новые, еще не виданные коллективы —мы были бы только последовательны, если бы признали, что народились новые народы».

Этническая психология является для Шпета не объяснительной, а описательно наукой, изучающей «типы» и «стили», в них то автор и видит коллективное, дух, объективный. дух. Наиболее полное выражение находит объективный дух народа в языке. Еще Климент Александрийский в III веке отмечал, что язык-де определяют как способ выражений, мыслей, «отличной соответственно характеру народа».

Мы видели, впрочем, что Шпет чужд статического или даже эволюционного представления духовной жизни. «Она идет скачками, толчками, периодами медленного накопления душевной энергии и внезапных «взрывов», «революций». «Душевная жизнь человека и тем более духовная жизнь человечества — чудовищная фантазмагория, кошмар, а не планомерная эволюция семени. Тем не менее, а может быть именно поэтому проникновение в тайны душевных движений так настойчиво требуют вопроса: когда и как это началось?»...

Книга, как и вообще сочинения Г. Г. Шпета, требуют от читателя внимания и работы, но работы увлекательной и плодотворной.

Выскажем пожелание, чтобы вслед за раскрытием своих мыслей об объективном духе Г. Г. Шпет обратился бы и к проблеме Гегелевского абсолютного духа, без разрешения которой не может быть завершена философия культуры.

Д. Лутохин.

АВДОТЬЯ ПАНАЕВА (Е. Я. Голвачева). Воспоминания. 1824 — 1870. Исправленное издание под ред. и с примеч. Корнея Чуковского. «Памятники литературного быта» — Издательство «Academia», Ленинград. 1927. Стр. 508. 2 р. 50 к. 4. 100 экз.

Когда то Ламартин вскричал, указывая на потребность в переменах: «La France s'ennuie». Теперь заскучили в России. От

скуки читают глупейшие переводные романы (переводы С. Льюиса, Дюамеля, Цвейга тонут в океане глупости), все же это для многих единственный «путь» взглянуть в Европу. Увлекаются мемуарной литературой, ища в ней только напоминание «милого прошлого» — живой Россией интересуются меньше всего. Но вот мемуары, которые, по совету А. Н. Пыпина, 70 летней старухой написала жена журналиста И. И. Панаева, позже 15 лет гражданская жена Некрасова, наконец жена и вдова публициста Головачева, сама талантливая романистка. Написанные в конце 80 годов записки Панаевой замечательны тем, что они дают ключ к живой России, убеждают в неизбежности разгрома дворянской культуры, победы разночинца и плебея. Пусть в записках встречаются неточности и сказывается страстный женский темперамент, пусть окарикатурен Тургенев и нимбом окружен Добролюбов, — общий стиль эпохи сочинен быть не мог: для такого подлога нужен литературный гений, а Панаева им не обладала, а лишь запечатлела свои встречи с литераторами 40-60 г. г. Многие портреты озаряют знакомых нам по их книгам и биографиям людей в ином, неожиданном свете...

К. Чуковский подготовил новое издание «Воспоминаний» раскрыл, скрытые ранее инициалами имена, восстановил купюры цензуры от которой пострадало издание Губинского (1890 г.), снабдил книгу ценными примечаниями. «Academia» издала книгу опрятно, заботливо и даже изящно, но

поскупилась приложить репродукцию акварели Зичи, на которой Панаева изображена в кругу литераторов. Между тем К. Чуковский в предисловии благодарит Алексея Толстого за предоставление акварели для воспроизведения в книге, портрет же Панаевой дан лишь на обложке, что мало целесообразно.

Следовало бы поместить в 1-м томе «Памятников литературного быта» толковую библиографию таких памятников — особенно раз серия рассчитана на начинающих знакомиться с историей словесности; любопытно было бы узнать и план серии. Начало ее удачно.

Интересная книга — и те, кто ее читал раньше, пусть перечтут ее снова: время смягчило страстность «Воспоминаний», оправдало понимание А. Панаевой своего времени.

Ф. Репейников.

И. ЭРЕНБУРГ. В Проточном переулке. (Изд. Геликон. Париж, 1927).

Когда берешь впервые новую книгу любимого автора, и она не только не разочаровывает, а снова и снова открывает неожиданные горизонты дает новые переживания, то не только мозг, но и сердце наполняются особой радостью; когда же подобную, всегда предчувствуемую, но все-же неожиданную радость получаешь от автора, книги которого по той или иной причине ранее не удовлетворяли, то радость тогда двойная — литературная и чисто человеческая, — будто примирился с чем-

то, кто с давних пор делал вам неприятности или жил нам наперекор. Все эти переживания были у меня, когда я прочла «В Проточном переулке» И. Эренбурга.

Когда около полугода тому назад один из друзей И. Эренбурга прочел мне несколько отрывков из «Проточного переулка» с явной целью убедить меня, что новая вещь должна примирить меня с творчеством Эренбурга, то не смотря на приятное впечатление признаюсь, я не уверовала. Ведь из Эренбурга легче, чем из кого бы то ни было вырвать отдельные места, ибо свои вещи он составляет из одного большого сюжета в который, как при мозаичной работе вкрапливает массу мелк. наблюдений, мыслей, остроумных замечаний и даже парадоксов. Этот вторичный элемент почти всегда хорош, но главный сюжет захлестывает его часто своей пошлостью и даже цинизмом. Поэтому, когда вышло книжное издание «Проточного переулка», я обратилась к нему с особо живым интересом и даже с простым любопытством, стремясь поскорее узнать, кто из нас двоих был в действительности прав. Как это всегда бывает в жизни — правда была по середине. Можно смело сказать, что «В Проточном переулке» является для творчества И. Эренбурга огромным шагом в сторону от таких вещей как было «Лето 1925» или «Воображаемые страдания завсегдакая кафе», что в нем, хотя и в совершенно ином жанре, он примыкает к своим ранним произведениям, как-то «Хулио Хуренито» и «13 трубок».

Прежде всего поражает то, что И. Эренбург, наконец, хотя бы один раз, вступил на традиционный путь русской художественной литературы. До сих пор не было автора пишущего на русском языке и в то же время столь чуждого всем особенностям этой литературы. Правда, сам автор даже с известной гордостью заявил в одном интервью, данном чешскому журналисту, что он вне всяких влияний и литературных связей и групп. Говоря попросту, тьма за мной, тьма передо мной, но таких Иванов Непомнящих нет в действительности в литературе, как и в жизни. Обычно они стараются намеренно что-то забыть. И вдруг «В Проточном переулке» у этого писателя, не признающего ни родных, ни знакомых, произошло просветление, он вспомнил о прекрасном и неисчерпанном источнике, из которого лишь сравнительно недавно стала черпать современная русская литература — о Н. В. Гоголе. Будем надеяться, что на этот раз И. Эренбург пустит глубоко свои корни в родную почву, что эта связь не будет одним из тех модных увлечений, которых уже столько прошло в его литературной жизни. А Гоголь стал сейчас воистину моден по обе стороны русской границы, у самих русских и у иностранцев, которые открыли его заодно с Лесковым и еще некоторыми иными редкими явлениями. В самой России это скорее уже не мода, а тяга, увлечение не столько сущностью и содержанием Гоголя, сколько его стилем и приемом. Вспомним о вышед-

шей несколько лет тому назад статье В. Шкловского «О стиле и языке Шинели», вспомним одновременно и то, что вся Серапионовская группа была, с тем же Шкловским и тогда нам станет многое понятно. Серапионы и их сверстники выросли теперь до самостоятельных литературных индивидуальностей, создающих определенное направление, у них уже есть последователи, они дают тон, а многие даже делают моду. В ногу с последним устремлением, последнего литературного течения должен идти И. Эренбург, таков уж его характер. В данном случае я думаю не малое значение сыграла его поездка в Россию, где он набрался свежего духа, увидел, что делается в литературных кругах и что требует читатель, уставший от обыденщины.

Если обратиться непосредственно к «Проточному переулку», то бросается прежде всего в глаза сюжет и даже не сюжет, а герои, все мелкие люди без определенных занятий, словом, все те, с которыми мы знакомы по петербургским рассказам Гоголя. На первый взгляд кажется, что жизнь за это время сделала такой шаг, что трудно найти даже точки сопрокосновения, но, в действительности, оказывается, что все это лишь на словах, а унижения и оскорбления тех, что живут в маленьких, грязных квартирах в Проточном переулке, остались все те же. И вот мы видим весь этот копошащийся гоголевский мир, но только с советскими атрибутами и внешними особенностями быта. Сама фабула безус-

ловно современна и даже злободневна — неустойчивая любовь советской барышни к различным несоответствующим героям, ее падение и воскресенье, ее тоска по романтизму, по упрощению безпроглядных будней. Нечто подобное мы находим в столь шумевшей этой зимой повести Малашкина — «Луна с правой стороны». Далее целая большая часть посвящена безпризорным детям, тем самым, описанием которых прославилась Сейфулина. Среди героев можно найти и таких, родословная которых восходит и довольно далеко, довольно по неопределенной линии; так, горбун музыкант Юзик, играющий не малую роль в романе, безусловно близок многим героям Юшкевича и Айзмана. Скажу для ясности, что все эти сравнения я привожу не в укор, а для влечения их в цепь тех лиц, которые уже заняли известное место в русской литературе. Герой романа может быть близок другому, но быть в то же время совершенно иным благодаря трактовке автора. Так, в данном случае это и является.

Что касается самой манеры И. Эренбурга, то в актив ему нужно записать незнакомое ему до сих пор целемудрие и стремление оторваться от грязи, к которой он приближается слишком охотно. Его романтизм в данном случае более естественен и сердечен, чем в Жанне Ней, где он пользовался самым грубым трафаретом, способным обмануть лишь абсолютно неискушенн. или безвкусного читателя. Сама уже избранная гоголевская манера

должна благотворно сдерживать некоторые инстинкты этого даровитого, но не отличающегося твердыми принципами и устойчивостью, писателя. Будем надеяться, что «Проточный переулочек» будет поворотным пунктом творчества И. Эренбурга, что он начнет смотреть больше в себя, чем на все стороны.

Н. М. П.

А. ВОРОНСКИЙ. — За живой и мертвой водой. Воспоминания. (Изд. Круг. 1927 г.).

После эпох богатых историческими событиями у публики обычно бывает большой спрос на мемуарную литературу. Так было после французской революции и наполеоновских войн, так же обстоит дело и сейчас в России после революции и в Европе после мировой войны. Существует широко распространенное мнение будто есть интересные и неинтересные эпохи человеческой истории, и как-то упускается из виду, что есть лишь люди, умеющие смотреть и слепые. Я считаю, что самыми интересными воспоминаниями, которые я прочла в жизни, не считая Герценовских «Былое и Думы», были записки никому неизвестных провинциальных жителей прошлого столетия, мирно прошедших, как через русскую, так и французскую жизнь. Но такие вещи попадают в печать только благодаря счастливой случайности, обычно они мирно спят в частных архивах, нам же приходится довольствоваться воспоминаниями великих людей о вели-

ких эпохах. Правда было сказано, что каждый имеет право писать воспоминания, так как никто не обязан их читать, но говоривший не подумал о том угнетаемом классе критиков, которые именно должны читать все, что им кладется на стол.

А. Воронский не великий человек, он лишь разумный, образованный критик, принадлежащий к культурной группе, не страдающей манией величия. За все эти положительные свойства, а также и за то, что на страницах «Воли России» были оценены его заслуги перед русской литературой, ему не мало досталось от напостовской группы, мы искренно желаем, чтобы наше не слишком восторженное отношение к его воспоминаниям принесло ему хотя бы несколько спокойных минут.

Воспоминания А. Воронского носят довольно субъективное название — «За живой и мертвой водой», что должно означать его искания. Все развертывающиеся в них действия относятся не к последней революционной эпохе, как в большинстве выходящих сейчас мемуаров, а к периоду 1905 года и к подпольной политической деятельности, в которую молодой тогда автор бросился с головой вместе с группой товарищей семинаристов. Обстановка и та, что натолкнула Воронского, и его товарищей на бунт и та, в которой они жили, как нелегальные, были уже неоднократно описаны с небольшими вариантами иными революционерами. Некоторую новизну в бытовом, но не в историческом отношении вносят описания жизни сельского и вообще

провинциального духовенства, быта которого касались многие художники, но который все же остается темен и неразработан. Не будь этого, воспоминания Воронского могли бы из себя представлять десятый или двадцатый оттиск все с того же революционного клише. С нашей точки зрения интерес повествования «За живой и мертвой водой» заключается в личности самого писателя, проявлявшего свою личность уже с самой молодости. Значительное место в воспоминаниях, рядом с рассказом о подполье и революционной подготовке, занимают рассуждения о праве личности на индивидуальную свободу и размышления о степени необходимости подчинения и самоотрицания человека во имя партии и ее деятельности. Страница, на которых описывается смерть сестры, производят глубокое впечатление не только своей художественной стороной, но и тем страшным человеческим одиночеством, которое автор испытывает перед лицом неизвестности. Его пугала не сама смерть, а то, что он не знал до этой минуты даже такого близкого человека, как сестру. Нечто подобное повторяется и при аресте одного из товарищей — рабочего, о личной жизни которого никто не знал абсолютно ничего, несмотря на долгую совместную политическую работу. Представление, что каждый из людей, из революционеров представляет из себя не самоценную человеческую личность, а лишь революционную боевую единицу, возбуждает в нем скрытое негодование. Материализм теории не вошел в его

кровь, не отравил его абсолютно. Думаю, что это сознание, которое в молодости заставляло его оберегать от стертости свое я, побудило Вороновского в более зрелом возрасте стать на защиту художественной личности писателя, который представлял для него ценность и вне кружка и класса. Не будь этих нескольких черт воспоминания Воронского читались бы совсем скучно и не имели бы совсем причины для существования.

Чисто формально, несмотря на некоторую художественную отделку, в воспоминаниях нет основного стержня и временные ограничения ничем не обоснованы. Быть может последняя черта будет исправлена следующими томами, существование которых, однако, ничто не заставляет предполагать.

Н. М. П.

ПАДЕНИЕ ЦАРСКОГО РЕЖИМА.

— Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезв. Следств. Комиссии Врем. Правительства. Редакция П. Е. ЩЕГОЛЕВА, т. УП, стр. 2+480. 3 р. ГИЗ, Ленинград. 10.000 экз.

Настоящим томом заканчивается издание 87 допросов и показаний, снятых Чрезв. Комиссией Временного Правительства в общих ее заседаниях. Не опубликован только один из допросов В. Коковцева, произведенный 11 сентября 1917 г. и почему-то исчезнувший. Жаль, что редактор не попытался восстановить, по памяти членов Комиссии, хотя

бы содержание этого допроса. К последнему тому приложен свод раз'яснений и исправлений всем томам и об'емистый указатель сведений о лицах, в этих томах упоминаемых. Указатель представляет большую ценность. Напрасно только большинство биографических справок обрывается на 1917 г. — а там, где сведения даны и за позднейшее время, не всегда отмечается, где теперь такой то находится (в СССР или в эмиграции), а если умер, то как (в бою, казнен и т. п.): моменты характерные и для лиц и для эпохи.

УП том является одним из наиболее содержательных. Рядом показаний подтверждается еще раз зловещая роль жены Николая II, видимо, умышленно устроившей принятие царем верховного командования, чтобы в его отсутствие стать фактически регентшей.

Ярки показания А. И. Шингарева, например, набросанный им портрет П. А. Столыпина. В первый раз Шингарев был лично у Столыпина в 1907 г., чтобы ходатайствовать за невинно осужденных на смертную казнь крестьянах по обвинению в убийстве помещика. «Вы не знаете, за кого вы вступаетесь, заявил Столыпин: это обезумевшие звери, которых можно держать только ужасом. Если их выпустить на свободу, они пережуют всех: и меня, и вас, и всех, кто носит пиджак»... Шингарев не выдержал: «я не понимаю, как уважающая себя власть может карать невинных людей»... Тогда Столыпин развернул какую то диаграмму и сказал: «Вот вы все время думаете, что можно

требовать от власти прекраснудушия... С каждым днем, по мере разговора в Думе (это было, когда 2-ая Дума отменила военно-полевые суды), у меня увеличивается число жертв, убитых городских, стражников. Террор идет и растет. Я ответственен за это»...

При другом посещении Шингаревым Столыпина была упомянута фамилия прис. пов. Кальмановича. «Вы знаете, какой он ловкий человек»», улыбнувшись начал Столыпин: «в 1905 году в Саратове был погром. Кальманович сообщил в полицию, что идут громить соседнюю квартиру товарища прокурора, полиция бросилась»... Вопрос, заданный Шингаревым: «а если бы Кальманович сказал про свою квартиру, бросилась бы полиция или нет?», повидимому остался без ответа, — но Столыпин понял.

Среди осторожных, себе на уме показаний, высших чинов правительства выделяется простодушием показания ген. Шуваева. Он «по солдатски» убеждал царя, что нельзя идти против течения, направлять течение в другую сторону можно и должно, но против течения всегда сломит.

«Вот в задонских степях, когда табун несется, горе тому, кто задумает идти напротив, нужно впереди скакать и затем вести за собой, но никоим образом не напротив... и мудрость правителя в том, чтобы идти впереди событий, предупреждать их»....

Не только, однако, обреченные, уже историей деятели «царского режима» — не способны были опережать события... Не прояви-

ли этой способности и их ближай-
шие преемники.....

Л. Залетаев.

*D-r LADISLAS RASIN: «Vsnik a
uznani Ceskeslovenskeho
Statu». Praha 1926. 326 стр.*

Вопрос о моменте возникнове-
ния Чехословацкой Республики
и вопрос о признании ее со сто-
роны великих держав имеет до-
вольно обширную литературу.
Господствующее мнение сво-
дится к тому, что некоторые ак-
ты союзников, в частности ноты
Франции от 15-го октября 1918
года, Англии от 23-го октября и
Италии от 24-го октября, имели
значение формального призна-
ния. Следовательно, юридически
бытие Чехословакии предшество-
вало фактическому ее возникно-
ванию. Таков взгляд Масарика,
Папанека и Мерсье. Книга Раши-
на оспаривает этот взгляд, бази-
руясь на формально-юридиче-
ских моментах. По взгляду авто-
ра, фактическое возникновение
Ч.-Сл. Р. надо отнести ко дню пе-
реворота 28-го октября 1918 го-
да, а актом признания со сторо-
ны Союзных и Центральных дер-
жав следует считать допущение
чехословацких делегатов на па-
рижскую мирную конференцию,
начавшуюся 18-го января 1919-го
года.

Что касается момента факти-
ческого возникновения, то в опре-
делении его надо согласиться с
автором, ибо взгляд его не толь-
ко находит подтверждение в по-
становлении репарационной ко-
миссии от 14-го апреля 1921-го

года, но и находится в полном
соответствии с положением док-
трины государственного права,
требующей для бытия государст-
ва наличия трех условий: аппара-
та власти, собственной террито-
рии и определенного народонасе-
ления. Очевидно, что все эти усло-
вия были осуществлены лишь ко
дню 28-го октября 1918-го года.

Однако, очень спорный харак-
тер носят воззрения автора по
вопросу о признании Чехослова-
кии. Формально-юридический ме-
тод, применяемый им, пригоден
лишь для анализа внутри-государ-
ственных правоотношений. Очень
сомнительна его применимость в
области права международного,
т. к. события междугосударствен-
ного общения могут быть исчер-
пывающе выражаемы лишь в тер-
минах социологических, а от-
нюдь не правовом. Право, по при-
роде своей, статично, оно не мо-
жет передавать динамику дейст-
вительной жизни. Потому то и к
формально-юридическому методу
в области международного права
с каждым годом относятся все
более и более скептически. Когда
Рашин отвергает возможность
юридического существования Ч.
С. Р. до момента фактического ее
возникновения, он впадает в
крайность необоснованного фор-
мализма. Автор полностью при-
нимает учение о государственном
суверенитете, не считаясь с
тем, что теория суверенитета, вви-
ду ее неудовлетворительности,
постепенно оставляется современ-
ной доктриной. Поэтому Ра-
шин, недооценивая деятельность
Народной Рады в Париже,
неправильно квалицирует уже

указанные акты союзников. Строго формальная позиция заставляет его игнорировать любопытную теорию проф. Хобзы о возможности антиципированного признания, считающую, что для полноравности нового государства в качестве члена международного общения, хотя и необходимо наличие двух моментов: фактического возникновения и признания, однако, отнюдь не требуется какая-либо строго определенная последовательность. На практике возникновению новообразования может предшествовать признание, равно как может быть и наоборот. Взгляд Хобзы не только более освещает динамичность возникновения государства, чем это

делает книга Рашина, но и более соответствует новейшим международно-правовым прецедентам, значительно идущим в разрез со старой доктриной.

Причину недостаточности теории Рашина следует искать именно в неудачном применении формального метода. Однако нельзя отрицать за книгой Рашина достоинство тщательного использования материалов международных дипломатических актов и основательного знакомства с литературой, что делает ее хорошим пособием для изучения этого спорного вопроса международного права.

В. В.

La Russie Opprimée

Bulletin hebdomadaire d'information socialiste
Rédaction: A. Kerenski, O. Minor, V. Zenzinov

(PARAIT TOUS LES SAMEDIS) Prix de l'Abonnement: 3 mois 4 fr.; 6 mois 7 fr.
Prix du numéro: 25 centimes
9 bis, RUE VINEUSE, PARIS 16^e

Le but de cette édition est de fournir des renseignements exacte sur le régime qui règne actuellement en Russie.

La Russie Opprimée puise ses renseignements aux sources mêmes — dans la presse soviétique et chez ses correspondants en Russie.
Tous les militants du mouvement ouvrier — socialiste, syndical, coopératif — qui donneront leurs adresses recevront gratuitement un exemplaire du bulletin.

ЗЕМЛЕДЕЛСКО ЗНАМЕ

Le Drapeau Paysan

DÉFENSEUR DES PAYSANS BULGARES

Journal hebdomadaire, paraissant en français et en bulgare

Rédaction et Administration: Prague, (Tchécoslovaquie),
Boîte Postale N° 471

Bureau à Paris: 32, Rue de Ménilmontant. PARIS (XX^e)

Prix du numéro: 50 centimes

ЧИТАЙТЕ И ПОДДЕРЖИВАЙТЕ РАБОЧЕЕ СЛОВО

Орган русских синдицированных рабочих во Франции при Генеральной Конфедерации Труда (С. Г. Т.)

«РАБОЧЕЕ СЛОВО» обслуживает интересы русских рабочих во Франции и за-границей и является единственным русским чисто рабочим органом за-границей.

В каждом номере статьи, обзоры профессионального движения, корреспонденции, письма и запросы читателей, обширный справочный отдел.

«РАБОЧЕЕ СЛОВО» создано на добровольные взносы русских рабочих.

Цена номера — 50 сантимов

До 15-го августа вышло четыре номера

Адрес редакции: 211, rue Lafayette, С. Г. Т. Section russe
«La Parole Ouvrière; Paris, France.

INVENTEURS ET INTELLECTUELS

QUI DÉSIREZ FAIRE EXPLOITER OU
EXPLOITER VOUS-MÊMES VOS INVEN-
TIONS, OU IDÉES, EN FRANCE ET DANS
LES PAYS LATINS, CONSULTEZ

UNIVERS - PUBLICITÉ

24, RUE MONGE, 24 — PARIS (V^e)
TÉLÉPHONE : G O B E L I N S 73-05

QUI POURRA EVENTUELLEMENT, ET
APRÈS EXAMEN APPROFONDI DE CE
QUE VOUS LUI SOUMETTREZ, VOUS
AIDER A RÉALISER UNE EXPLOITA-
TION RATIONNELLE. — NOTRE ÉQUIPE
COMPREND des INGÉNIEURS ÉPROUVÉS

TOUTES QUESTIONS DE P U B L I C I T É

TRAITÉES SELON LA PSY-
CHOLOGIE FRANÇAISE PAR

UNIVERS -- PUBLICITÉ

DIRECTEURS :

DOCTEUR ARIBERT DE J A X, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRA- TIONS DE LA CHAMBRE SYNDICALE de PUBLICITÉ	VINOT MAURICE, INGÉNIEUR CIVIL, DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES INGÉNIEURS, LAU- RÉAT DE L'INSTITUT
--	--

CONSEILS EN PUBLICITÉ & ORGANISATION

**IMPRIMERIE de la Société Nouvelle
d'Éditions FRANCO-SLAVE**

32, rue de Ménilmontant. 32 — PARIS (XX)

Téléphone : Ménilmontant 67-41

**НОВАЯ
ФРАНКО-СЛАВЯНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ
ПАРИЖ**

ВСЕ ТИПОГРАФСКИЕ РАБОТЫ НА ВСЕХ
ЕВРОПЕЙСКИХ И ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКАХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ: РУССКИЙ,
ФРАНЦУЗСКИЙ, СЛАВЯНСКИЙ И ЕВРЕЙ-
СКИЙ. ПЕЧАТАНИЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ ГА-
ЗЕТ, ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИИ, КНИГ,
БРОШЮР, КАТАЛОГОВ И ПРОСПЕКТОВ.
БЛАНКИ, АФИШИ, РЕКЛАМЫ И КАЛЕН-
ДАРИ И ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КОНТОРСКИЕ
РАБОТЫ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ,
КЛИШЕ И ГРАВЮРЫ. НАБОР НА АМЕРИ-
КАНСКИХ ЛИНОТИПАХ И РУЧНОЙ. БОЛЬ-
ШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НОВЫХ ШРИФТОВ.

**ОБЩЕСТВЕННЫМ И ТРУДОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

РАСЦЕНКИ ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ БЕСПЛАТНО



**РУССКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
И КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ**
J. POVOLOZKY & C^{IE} 13, RUE BONAPARTE PARIS VI^e
ВСѢ РУССКІЯ И ФРАНЦУЗСКІЯ КНИГИ
ОТКРЫТО БЕЗЪ ПЕРЕРЫВА СЪ 9 У. ДО 7 ВЕЧ.

Cheques postaux .. Paris 196-58

Tél.: Fleurus 42-04

R. C. Seine 212-183 B.

Фирма основана в 1910 г.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

журнала

„ВОЛЯ РОССИИ“

Для ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ, БЕЛЬГИИ, ИТАЛИИ, ПОЛЬШИ
и ПРИБАЛТИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ

Собственные издания на Русском и Французском языках. Все зарубежные издания. Все Книги Советской России. Детские книги. Учебники
Словари и самоучители иностранных языков. Ежемесячные бюллетени
всех французских изданий. Каталоги высылаются бесплатно.

— А Н Т И К В А Р И А Т —

ВСЕ КНИГИ ПО ИСКУССТВУ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ
НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

J. POVOLOZKY & C^{IE}

EDITEURS

13, rue Bonaparte, PARIS (VI^e)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НОВЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

„Социалист- Революционер“

выходящий под редакц. членов Заграничной Делегации Партии Социалистов-Революционеров: С. П. Постникова, М. Л. Слонима, Е. А. Сталинского и В. В. Сухомлина.

Подписная плата :

Во Франции — 1 год — 30 фр. — 6 мес. — 15 фр.
Вне Франции — 1 год — 1,5 ам. доллара. — 6 мес. — 75 центов.

Цена отдельного номера:

Во Франции — 3 франка.
Вне Франции — 20 центов.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И КОНТОРЫ:

« Es-Er ». Société Nouvelle d'Éditions Franco-Slaves.
32, rue de Ménilmontant, Paris (XX^e)

АДРЕС ПРАЖСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РЕДАКЦИИ И КОНТОРЫ:
S. POSTNIKOFF, Uhelny trh I, Prague, Tchécoslovaquie.

ВЫШЕЛ И ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ № 1.

Содержание :

От редакции: Наши задачи.

На темы дня: Франко-русская дружба и ликвидация англо-русского комитета.

** : Голос ветеранов революции.

Е. Сталинский: Кризис В. К. П.

М. Л. Слоним: Единомыслие или свобода?

Юниус: За кулисами Коминтерна.

Редакция: «Лига Нового Востока».

Иностранная жизнь: Памятник Маттеотти. Заседание И. К. Социалистического Интернационала.

Внутренняя жизнь: Сталин и оппозиция (письмо из Москвы). Об эсеровщине и молодежи (письмо из Ленинграда). На мели (письмо с Волги). Преследования на Кавказе. Письмо московского рабочего. Аресты толстовцев.

Фельетон. В. В. Сухомлин: Украинские сепаратисты и грузинские социал-демократы.

Le Gérant: I. ROSSEL-CHIOT

Imprimerie de la Société Nouvelle d'Éditions Franco-Slaves
32, rue de Ménilmontant, Paris (20).

